



К. Станюкович

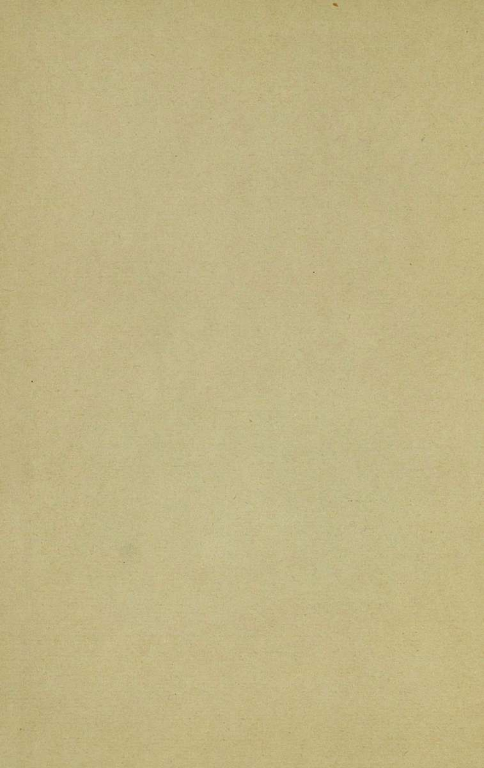
МОРСКИЕ РАССКАЗЫ

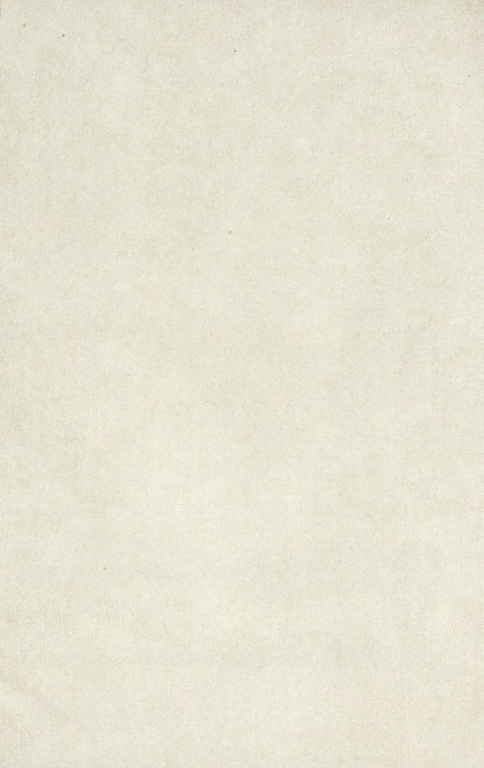
ДЕТИЗДАТ ЦК ВЛКСМ












31056
1957-58 г.
Научная библиотека
дома детской книги
ДЕТГИЗА



Посвящается Тусику.

МАКСИМКА

I

Только что пробил колокол. Было шесть часов прелестного тропического утра на Атлантическом океане.

По бирюзовому небосклону, бесконечно-высокому и прозрачно-нежному, местами подернутому, словно белоснежным кружевом, маленькими перистыми облачками, быстро поднимается золотистый шар солнца, жгучий и ослепительный, заливая радостным блеском водяную холмистую поверхность океана. Голубые рамки далекого горизонта ограничивают его беспредельную даль.

Как-то торжественно безмолвно кругом.

Только могучие светло-синие волны, сверкая на солнце своими серебристыми верхушками и нагоняя одна другую, плавно переливаются с тем ласковым, почти нежным рокотом, который точно нашептывает, что в этих широтах, под тропиками, вековечный старик-океан всегда находится в добром расположении духа.

Бережно, словно заботливый нежный пестун, несет он на своей исполинской груди плывущие корабли, не угрожая морякам бурями и ураганами.

Пусто вокруг!

Не видно сегодня ни одного белеющего паруса, не видно ни одного дымка на горизонте. Большая океанская дорога широка.

Изредка блеснет на солнце серебристою чешуйкой летучая рыбка, покажет черную спину играющий кит и шумно выпустит фонтан воды, высоко прореет в воздухе темный фрегат или белоснежный альбатрос, пронесется над водой маленькая серая петрель, направляясь к далеким берегам Африки или Америки, и снова пусто. Снова рокочущий океан, солнце да небо, светлые, ласковые, нежные.

Слегка покачиваясь на океанской зыби, русский военный паровой клипер «Забияка» быстро идет к югу, удаляясь все дальше и дальше от севера, мрачного, угрюмого и все-таки близкого и дорогого севера.

Небольшой, весь черный, стройный и красивый, со своими тремя чуть-чуть подавшимися назад высокими мачтами, сверху донизу покрытый парусами, «Забияка» с попутным и ровным, вечно дующим в одном и том же направлении северо-восточным пассатом, бежит себе миль по семи-восьми в час, слегка накренившись своим подветреным бортом. Легко и грациозно поднимается «Забияка» с волны на волну, с тихим шумом рассекает их своим острым водорезом, вокруг которого пенится вода и рассыпается алмазною пылью. Волны ласково лижут бока клипера. За кормой стелется широкая серебристая лента.

На палубе и внизу идет обычная утренняя чистка и уборка клипера к подъему флага, то есть к восьми часам утра, когда на военном судне начинается день.

Рассыпавшись по палубе в своих белых рабочих рубахах с широкими откидными синими воротами, открывающими жилистые, загорелые шеи, матросы, босые, с засученными до колен штанами, моют, скребут и чистят палубу, борты, пушки и медь, словом, убирают «Забияку» с тою щепетильною внимательностью, какою отличаются моряки при уборке своего судна, где всюду, от верхушек мачт до трюма, должна быть умопомрачающая чистота и где все, доступное кирпичу, суконке и белилам, должно блестеть и сверкать.

Матросы усердно работали и весело посмеивались, когда «горластый» боцман Матвеич, старый служака с типичным боцманским лицом старого времени, красным и от загара, и от береговых кутежей, с выкаченными серыми глазами, «чумея», как говорили матросы, во время «уборки», выпаливал какую-нибудь уж очень затейливую ругательную импровизацию, поражавшую даже привычное ухо русского матроса. Делал Матвеич это не столько для поощрения, сколько, как он выражался, «для порядка».

Никто за это не сердился на Матвеича. Все знают, что Матвеич добрый и справедливый человек, кляуз не заводит и не злоупотребляет своим положением. Все давно привыкли к тому, что он не мог произнести трех слов без ругани, и порой восхищаются его бесконечными вариациями. В этом отношении он был виртуоз.

Время от времени матросы бегали на бак, к кадке с водой и к ящику, где тлел фитиль, чтобы наскоро выкурить трубочку острой махорки и перекинуться словом. Затем снова принимались чистить и оттирать медь, наводить глянец на пушки и мыть борты, и особенно старательно, когда приближалась высокая, худощавая фигура старшего офицера, с раннего утра носившегося по всему клиперу, заглядывая то туда, то сюда.

Вахтенный офицер, молодой блондин, стоявший вахту с четырех до восьми часов, уже давно разогнал дрему первого получаса вахты. Весь в белом, с расстегнутою ночной сорочкой, он ходит взад и вперед по мостику, вдыхая полной грудью свежий воздух утра, еще не накаленный жгучим солнцем. Нежный ветер приятно ласкает затылок молодого лейтенанта, когда он останавливается, чтобы взглянуть на компас — по румбу ли правят рулевые, или на паруса — хорошо ли они стоят, или на горизонт — нет ли где шквалистого облачка.

Но все хорошо, и лейтенанту почти нечего делать на вахте в благодатных тропиках.

И он снова ходит взад и вперед и слишком рано мечтает о том времени, когда вахта кончится и он выпьет стакан-другой чаю со свежими горячими булками, которые так мастерски печет офицерский кок, если только водку, которую он требует для поднятия теста, не вольет в себя.

II

Вдруг по палубе пронесся неестественно-громкий и тревожный крик часового, который, сидя на носу судна, смотрел вперед:

— Человек в море!

Матросы кинули мгновенно работы и, удивленные и взволнованные, бросились на бак и устремили глаза на океан.

— Где он, где? — спрашивали со всех сторон часового, молодого белобрысого матроса, лицо которого вдруг побелело, как полотно.

— Вон, — указывал дрогнувшей рукой матрос. — Теперь скрылся. А сейчас видел, братцы... На мачте держался... привязан, что ли, — возбужденно говорил матрос, напрасно стараясь отыскать глазами человека, которого только что видел.

Вахтенный лейтенант вздрогнул от окрика часового и впился глазами в бинокль, наводя его в пространство перед клипером.

Сигнальщик смотрел туда же в подзорную трубу.

— Видишь? — спросил молодой лейтенант.

— Вижу, ваше благородие... Левее извольте взять...

Но в это мгновение и офицер увидел среди волн обломок мачты и на нем человеческую фигуру.

И взвизгивающим, дрожащим голосом, торопливым и нервным, он крикнул во всю силу своих здоровых легких:

— Свистать всех наверх! Грот и фок на гитовы! Баркас к спуску!

И, обратившись к сигнальщику, возбужденно прибавил:

— Не теряй из глаз человека!

— Пошел все наверх! — рявкнул сипловатым баском боцман после свистка в дудку.

Словно бешеные, матросы бросились к своим местам.

Капитан и старший офицер уже вбегали на мостик. Полусонные, заспанные офицеры, надевая на ходу кителя, поднимались по трапу на палубу.

Старший офицер принял команду, как всегда бывает при аврале, и, как только раздались его громкие, отрывистые командные слова, матросы стали исполнять их с какою-то лихорадочною порывистостью. Все в их руках точно горело. Каждый словно бы понимал, как дорога каждая секунда

Не прошло и семи минут, как почти все паруса, за исключением двух-трех, были убраны, «Забияка» лежал в дрейфе, недвижно покачиваясь среди океана, и баркас с шестнадцатью гребцами и офицером у руля спущен был на воду.

— С богом! — крикнул с мостика капитан на отваливший от борта баркас.

Гребцы наваливались изо всех сил, торопясь спасти человека.

Но в эти семь минут, пока остановился клипер, он успел пройти больше мили, и обломка мачты с человеком не видно было в бинокль.

По компасу заметили все-таки направление, в котором находилась мачта, и по этому направлению выгребал баркас, удаляясь от клипера.

Глаза всех моряков «Забияки» провожали баркас. Какою ничтожною скорлупою казался он, то показываясь на гребнях больших океанских волн, то скрываясь за ними.

Скоро он казался маленькой черной точкой.

III

На палубе царила тишина.

Только порой матросы, теснившиеся на юте и на шканцах, менялись между собой отрывистыми замечаниями, произносимыми вполголоса:

— Должно, какой-нибудь матросик с потопшего корабля.

— Потонуть кораблю здесь трудно. Разве вовсе плохое судно.

— Нет, видно, столкнулся с каким другим ночью . . .

— А то и сгорел.

— И всего-то один человек остался, братцы!

— Может, другие на шлюпках спасаются, а этого забыли . . .

— Живой ли он?

— Вода теплая. Может, и живой.

— И как это, братцы, акул-рыба его не съела. Здесь этих самых акулов страсть!

— Ддда, милые! Опаская эта флотская служба. Ах, какая опаская! — произнес, подавляя вздох, совсем молодой чернявый матросик с серьгой, первогодок, прямо от сохи попавший в кругосветное плавание.

И, с омраченным грустью лицом, он снял шапку и медленно перекрестился, точно безмолвно моля бога, чтобы он сохранил его от ужасной смерти где-нибудь в океане.

Прошло три четверти часа общего томительного ожидания.

Наконец сигнальщик, не отрывавший глаза от подзорной трубы, весело крикнул:

— Баркас пошел назад!

Когда он стал приближаться, старший офицер спросил сигнальщика:

— Есть на нем спасенный?

— Не видать, ваше благородие! — уже не так весело отвечал сигнальщик.

— Видно, не нашли! — проговорил старший офицер, подходя к капитану.

Командир «Забияки», низенький, коренастый и крепкий брюнет пожилых лет, заросший сильно волосами, покрывавшими мясистые щеки и подбородок густою, черною, заседевшею щетиной, с небольшими круглыми, как у ястреба, глазами, острыми и зоркими, — недовольно вздернул плечом и, видимо, сдерживая раздражение, проговорил:

— Не думаю-с. На баркасе исправный офицер, и не вернулся бы так скоро, если б не нашел человека-с.

— Но его не видно на баркасе.

— Быть может, внизу лежит, потому и не видно-с... А впрочем-с, скоро узнаем...

И капитан заходил по мостику, то и дело останавливаясь, чтобы взглянуть на приближавшийся баркас. Наконец он взглянул в бинокль и хоть не видел спасенного, но по спокойно-веселому лицу офицера, сидевшего на руле, решил, что спасенный на баркасе.

И на сердитом лице капитана засветилась довольная улыбка.

Еще несколько минут, и баркас подошел к борту и вместе с людьми был поднят на клипер.

Вслед за офицером из баркаса стали выходить гребцы, красные, вспотевшие, с трудом переводившие дыхание от усталости. Поддерживаемый одним из гребцов, на палубу вышел и спасенный — маленький негр лет десяти-одиннадцати, весь мокрый, в рваной рубашке, прикрывавшей небольшую часть его худого, истощенного, черного, отливавшего глянцем тела.

Он едва стоял на ногах и вздрагивал всем телом, глядя ввалившимися большими глазами с какою-то безумною радостью и в то же время недоумением, словно не веря своему спасению.

— Совсем полумертвого с мачты сняли; едва привели в чувство бедного мальчишку, — докладывал капитану офицер, ездивший на баркасе.

— Скорее его в лазарет! — приказал капитан.

Мальчика тотчас же отнесли в лазарет, вытерли насухо, уложили в койку, покрыли одеялами, и доктор начал его отхаживать, вливая в рот ему по нескольку капель коньяку.

Он жадно глотал влагу и умоляюще глядел на доктора, показывая на рот.

А наверху ставили паруса, и минут через пять «Забияка» снова шел прежним курсом, и матросы снова принялись за прерванные работы.

— Арапчонка спасли! — раздавались со всех сторон веселые матросские голоса.

— И какой же он щуплый, братцы!

Некоторые бегали в лазарет узнавать, что с арапчонком.

— Доктор отхаживает. Небось, выходит!

Через час марсовой Коршунов принес известие, что арапчонок спит крепким сном после того, как доктор дал ему несколько ложек горячего супа...

— Нарочно для арапчонка, братцы, кок суп варил, вовсе, значит, пустой, безо всего, так, отвар быдто, — с оживлением продолжал Коршунов, довольный и тем, что ему, известному вралю, верят в данную минуту, и тем, что он на этот раз не врет, и тем, что его слушают.

И, словно бы желая воспользоваться таким исключительным для него положением, он торопливо продолжает:

— Фершал, братцы, сказывал, что этот самый арапчонок по-своему что-то лопотал, когда его кормили, просил, значит: «дайте больше, мол, этого самого супу»... И хотел даже вырвать у доктора чашку... Однако не допустили: значит, брат, сразу нельзя... Помрет, мол.

— Что ж арапчонок?

— Ничего, покорился...

В эту минуту к кадке с водой подошел капитанский вестовой Сойкин и закурил остаток капитанской сигары. Тотчас же общее внимание было обращено на вестового, и кто-то спросил:

— А не слышно, Сойкин, куда денут потом арапчонка?

Рыжеволосый, веснушчатый, франтоватый, в собственной тонкой матросской рубахе и в парусинных башмаках, Сойкин не без достоинства пыхнул дымком сигары и авторитетным тоном человека, имеющего кое-какие сведения, проговорил:

— Куда деть? Оставят на Надежном мысу, когда, значит, придем туда.

«Надежным мысом» он называл мыс Доброй Надежды.

И, помолчав с важным видом, не без пренебрежения прибавил:

— Да и что с им делать, с черномазой нехристью? Вовсе даже дикие люди.

— Дикие не дикие, а всё божья тварь. . . Пожалеть надо! — промолвил старый плотник Захарыч.

Слова Захарыча, видимо, вызвали общее сочувствие среди кучки курильщиков.

— А как же арапчонок оттеля к своему месту вернется? Тоже и у его, поди, отец с матерью есть! — заметил кто-то.

— На Надежном мысу всяких арапов много. Небось, дознаются, откуда он, — ответил Сойкин и, докурив окурок, вышел из круга.

— Тоже вестовщина. Полагает о себе! — сердито пустил ему вслед старый плотник.

IV

На другой день мальчик-негр хотя и был очень слаб, но настолько оправился после нервного потрясения, что доктор, добродушный пожилой толстяк, радостно улыбаясь своею широкою улыбкою, потрепал ласково мальчика по щеке и дал ему целую чашку бульону, наблюдая, с какой жадностью глотал он жидкость и как потом благодарно взглянул своими большими черными, выпуклыми глазами, зрачки которых блестели среди белков.

После этого доктор захотел узнать, как мальчик очутился в океане и сколько времени он голодал, но разговор с пациентом оказался решительно невозможным, несмотря даже на выразительные пантомимы доктора. Хотя маленький негр, повидимому, был сильнее доктора в английском языке, но так же, как и почтенный доктор, безбожно ковер-

кал несколько десятков английских слов, которые были в его распоряжении.

Они друг друга не понимали.

Тогда доктор послал фельдшера за юным мичманом, которого все в кают-компании звали «Петенькой».

— Вы, Петенька, отлично говорите по-английски, поговорите-ка с ним, а у меня что-то не выходит! — смеясь проговорил доктор. — Да скажите ему, что дня через три я его выпущу из лазарета! — прибавил доктор.

Юный мичман, присев около койки, начал свой допрос, стараясь говорить короткие фразы тихо и раздельно, и маленький негр, видимо, понимал если не все, о чем спрашивал мичман, то во всяком случае кое-что и спешил отвечать рядом слов, не заботясь об их связи, но зато подкрепляя их выразительными пантомимами.

После довольно продолжительного и трудного разговора с мальчиком-негром мичман рассказал в кают-компании более или менее верную в общих чертах историю мальчика, основанную на его ответах и мимических движениях.

Мальчик был на американском бриге «Бетси» и принадлежал капитану («большому мерзавцу», — вставил мичман), которому чистил платье, сапоги и подавал кофе с коньяком или коньяк с кофе. Капитан звал слугу своего «боем»,[1] и мальчик уверен, что это его имя. Отца и матери он не знает. Капитан год тому назад купил маленького негра в Мозамбике и каждый день бил его. Бриг шел из Сенегала в Рио с грузом негров. Две ночи тому назад бриг сильно стукнуло другое судно (эту часть рассказа мичман основал на том, что маленький негр несколько раз проговорил: «кра, кра, кра», и затем слабо стукнул своим кулачком по стенке лазаретной каютки), и бриг пошел ко дну... Мальчик очутился в воде, привязался к обломку мачты и провел на ней почти двое суток...

Но несравненно красноречивее всяких слов, если бы такие и мог сказать мальчик о своей ужасной жизни, говорило и его удивление, что с ним ласково обращаются, и забитый его вид, и эти благодарные его взгляды загнанной собачонки, которыми он смотрел на доктора, фельдшера и на мичмана, и — главное — его покрытая рубцами, блестящая, черная, худая спина с выдающимися ребрами.

[1] Boy — по-английски мальчик.

Рассказ мичмана и показания доктора произвели сильное впечатление в кают-компании. Кто-то сказал, что необходимо поручить этого бедняжку покровительству русского консула в Каптоуне и сделать в пользу негра сбор в кают-компании.

Пожалуй, еще большее впечатление произвела история маленького негра на матросов, когда в тот же день под вечер молодой вестовой мичмана, Артемий Мухин — или, как все его звали, Артюшка — передавал на баке рассказ мичмана, причем не отказал себе в некотором злорадном удовольствии украсить рассказ некоторыми прибавлениями, свидетельствующими о том, какой был дьявол этот американец-капитан.

— Каждый день, братцы, он мучил арапчонка. Чуть что́, сейчас в зубы: раз, другой, третий, да в кровь, а затем снимет с крючка плетку, а плетка, братцы, отчаянная, из самой толстой ремешки — и давай лупцовать арапчонка! — говорил Артюшка, вдохновляясь собственной фантазией, вызванной желанием представить жизнь арапчонка в самом ужасном виде. — Не разбирал, анафема, что перед им безответный мальчонка, хоть и негра... У бедняги и посейчас вся спина исполосована... Доктор сказывал: страсть поглядеть! — добавил впечатлительный и увлекавшийся Артюшка.

Но матросы, сами бывшие крепостные и знавшие по собственному опыту, как еще в недавнее время «полосовали» им спины, и без Артюшкиных прикрас жалели арапчонка и посылали по адресу американского капитана самые недобрые пожелания, если только этого дьявола уж не сожрали акулы.

— Небось, у нас уж объявили волю хрестьянам, а у этих мериканцев, значит, крепостные есть? — спросил какой-то пожилой матрос.

— То-то есть!

— Чудно что-то... Вольный народ, а поди ж ты! — протянул пожилой матрос.

— У их арапы быдто вроде крепостных! — объяснял Артюшка, слыхавший кое-что об этом в кают-компании. — Из-за этого самого у их промеж себя и война идет.[1] Одни мериканцы, значит, хотят, чтобы все арапы, что́ живут у

[1] Рассказ относится ко времени междоусобной войны в Соединенных штатах.

их, были вольные, а другие на это никак не согласны — это те, которые имеют крепостных арапов, — ну и жарят друг дружку, страсть! . . Только господа сказывали, что которые мериканцы за арапов стоят, те одолеют! Начисто разделают помещиков мериканских! — не без удовольствия прибавил Артюшка.

— Не бойсь, господь им поможет . . . И арапу на воле жить хочется . . . И птица клетки не любит, а человек и подавно! — вставил плотник Захарыч.

Чернявый молодой матросик-первогодок, тот самый, который находил, что флотская служба очень «опаская», с напряженным вниманием слушал разговор и наконец спросил:

— Теперь, значит, Артюшка, этот самый арапчонок вольный будет?

— А ты думал как? Известно, вольный! — решительно проговорил Артюшка, хотя в душе и не вполне был уверен в свободе арапчонка, не имея решительно никаких понятий об американских законах насчет прав собственности.

Но его собственные соображения решительно говорили за свободу мальчика. «Чорта-хозяина» нет, к рыбам в гости пошел, так какой тут разговор!

И он прибавил:

— Теперь арапчонку только новый пачпорт выправить на Надежном мысу. Получи пачпорт и айда на все четыре стороны.

Эта комбинация с паспортом окончательно рассеяла его сомнения.

— То-то и есть! — радостно воскликнул чернявый матросик-первогодок.

И на его добродушном, румяном лице с добрыми, как у щенка, глазами засветилась тихая светлая улыбка, выдававшая радость за маленького несчастного негра.

Короткие сумерки быстро сменились чудною, ласковою тропическою ночью. Небо зажглось мириадами звезд, ярко мигающих с бархатной выси. Океан потемнел вдали, сияя фосфорическим блеском у бортов клипера и за кормою.

Скоро просвистали на молитву, и затем подвахтенные, взявши койки, улеглись спать на палубе.

А вахтенные матросы коротали вахту, притулившись у снастей, и лясничали вполголоса. В эту ночь во многих кучках говорили об «арапчонке».

V

Через два дня доктор, по обыкновению, пришел в лазарет в семь часов утра и, обследовав своего единственного пациента, нашел, что он поправился, может встать, выйти наверх и есть матросскую пищу. Объявил он об этом маленькому негру больше знаками, которые были на этот раз быстро поняты поправившимся и повеселевшим мальчиком, казалось, уже забывшим недавнюю близость смерти. Он быстро вскочил с койки, обнаруживая намерение итти наверх погреться на солнышке, в длинной матросской рубахе, которая сидела на нем в виде длинного мешка, но веселый смех доктора и хихиканье фельдшера при виде черненького человека в таком костюме, несколько смутили негра, и он стоял среди каюты, не зная, что ему предпринять, и не вполне понимая, к чему доктор дергает его рубаху, продолжая смеяться.

Тогда негр быстро ее снял и хотел было юркнуть в двери нагишом, но фельдшер удержал его за руку, а доктор, не переставая смеяться, повторял:

— No, no, no . . .

И вслед за тем знаками приказал негру надеть свою рубашку-мешок.

— Во что бы одеть его, Филиппов? — озабоченно спрашивал доктор щеголеватого, курчавого фельдшера, человека лет тридцати. — Об этом-то мы с тобой, братец, и не подумали . . .

— Точно так, вашескобродие, об этом мечтания не было. А ежели теперь обрезать ему, значит, рубаху примерно до колен, вашескобродие, да, с позволения сказать, перехватить талию ремнем, то будет даже довольно «обоюдно», вашескобродие, — заключил фельдшер, имевший несчастную страсть употреблять некстати слова, когда он хотел выразиться покудрявее или, как матросы говорили, «позанозистее».

— То есть как «обоюдно»? — улыбнулся доктор.

— Да так-с. . . обоюдно. Кажется, всем известно, что обозначает «обоюдно», вашескобродие! — обиженно проговорил фельдшер. — Удобно и хорошо, значит.

— Едва ли это будет «обоюдно», как ты говоришь. Один смех будет, вот что́, братец. А впрочем, надо же как-нибудь одеть мальчика, пока не попрошу у капитана разрешения сшить мальчику платье по мерке.

— Очень даже возможно хороший костюм сшить... На клипере есть матросы по портной части. Сошьют.

— Так устраивай свой обоюдный костюм.

Но в эту минуту в двери лазаретной каюты раздался осторожный, почтительный стук.

— Кто там? Входи! — крикнул доктор.

В дверях показалось сперва красноватое, несколько припухлое, неказистое лицо, обрамленное русыми баками, с подозрительного цвета носом и воспаленными, живыми и добрыми глазами, а вслед за тем и вся небольшая, сухощавая, довольно ладная и крепкая фигура фор-марсового Ивана Лучкина.

Это был пожилой матрос лет сорока, прослуживший во флоте пятнадцать лет и бывший на клипере одним из лучших матросов и отчаянных пьяниц, когда попадал на берег. Случалось, он на берегу пропивал все свое платье и являлся на клипер в одном белье, ожидая на следующее утро наказания с самым, казалось, беззаботным видом.

— Это я, вашескобродие, — проговорил Лучкин сиповатым голосом, переступая большими ступнями босых жилистых ног и теребя засмоленной, шершавой рукой обтянутую штанину.

В другой руке у него был узелок.

Он глядел на доктора с тем застенчиво-виноватым выражением и в лице, и в глазах, которое часто бывает у пьяниц и вообще у людей, знающих за собой порочные слабости.

— Что тебе, Лучкин? . . Заболел, что ли?

— Никак нет, вашескобродие, — я вот платье арапчонку принес... Думаю: голый, так сшил и мерку еще раньше снял. Дозвольте отдать, вашескобродие.

— Отдавай, братец... Очень рад, — говорил доктор, несколько изумленный. — Мы вот думали, во что бы одеть мальчика, а ты раньше нас подумал о нем...

— Способное время было, вашескобродие, — как бы извинялся Лучкин.

И с этими словами он вынул из ситцевого платка маленькую матросскую рубаху и такие же штаны, сшитые из холста, встряхнул их и, подавая ошалевшему мальчику, весело и уже совсем не виноватым тоном, каким говорил с доктором, сказал, ласково глядя на негра:

— Получай, Максимка! Одежа самая, братец ты мой, вери-гут. Одевай да носи на здоровье, а я посмотрю, как сидит... Вали, Максимка!

— Отчего ты его Максимка зовешь? — рассмеялся доктор.

— А как же, вашескобродие? Максимка и есть, потому как его в день святого угодника Максима спасли, он и выходит Максимка... Опять же имени у арапчонка нет, надо же его как-нибудь звать.

Радости мальчика не было пределов, когда он облачился в новую, чистую пару. Видимо, такого платья он никогда не носил.

Лучкин осмотрел свое изделие со всех сторон, обдергал и пригладил рубаху и нашел, что платье во всем акурате.

— Ну, теперь валим наверх, Максимка... Погрейся на солнышке! Дозвольте, вашескобродие.

Доктор, сияя добродушной улыбкой, кивнул головой, и матрос, взяв за руку негра, повел его на бак и, показывая матросам, проговорил:

— Вот он и Максимка! Не бойсь, теперь забудет идола-американца, знает, что российские матросы его не забидят.

И он любовно трепал мальчика по плечу и, показывая на его курчавую голову, сказал:

— Ужо, брат, и шапку справим... И башмаки будут, дай срок!

Мальчик ничего не понимал, но чувствовал по всем этим загорелым лицам матросов, по их улыбкам, полным участия, что его не обидят.

И он весело скалил свои ослепительно-белые зубы, нежась под горячими лучами родного ему южного солнца.

С этого дня все стали его звать Максимкой.

VI

Представив матросам на баке маленького, одетого по-матросски негра, Иван Лучкин тотчас же объявил, что будет «доглядывать» за Максимкой и что берет его под свое особое покровительство, считая, что это право принадлежит исключительно ему уж в силу того, что он «обрядил мальчонка» и дал ему, как он выразился, «форменное прозвище».

О том, что этот заморенный, худой, маленький негр, испытавший на заре своей жизни столько горя у капитана-американца, возбудил необыкновенную жалость в сердце одинокого, как перст, матроса, жизнь которого, особенно

прежде, тоже была не из сладких, и вызвал желание сделать для него возможно приятными дни пребывания на клипере, — о том Лучкин не проронил ни слова. По обыкновению русских простых людей, он стыдился перед другими обнаруживать свои чувства и, вероятно, поэтому объяснил матросам желание «доглядывать» за Максимкой исключительно тем, что «арапчонок занятный, вроде облизьяны, братцы». Однако, на всякий случай, довольно решительно заявил, бросая внушительный взгляд на матроса Петрова, известного задиру, любившего обижать безответных и робких «первогодков»-матросов, — что если найдется такой, «прямо сказать, подлец», который забидит «сироту», то будет иметь дело с ним, с Иваном Лучкиным.

— Не бойсь, искровяню морду в самом лучшем виде! — прибавил он, словно бы в пояснение того, что значит иметь с ним дело. — Забижать дитё — самый большой грех... Какое ни на есть оно: хрещеное или арапское, а все дитё... И ты его не забидь! — заключил Лучкин.

Все матросы охотно признали заявленные Лучкиным права на Максимку, хотя многие скептически отнеслись к рачительному исполнению принятой им добровольно на себя хлопотливой обязанности.

Где, мол, такому «отчаянному матрозне» и забулдыге-пьянице возиться с арапчонком?

И кто-то из старых матросов не без насмешки спросил:

— Так ты, Лучкин, значит, вроде быдто няньки будешь у Максимки?

— То-то за няньку! — отвечал с добродушным смехом Лучкин, не обращая внимания на иронические усмешки и улыбки. — Нешто я в няньки не гожусь, братцы? Не к барчуку ведь!.. Тоже и этого черномазого надо обрядить... другую смену одежи сшить, да башмаки, да шапку справить... Дохтур исхлопочет, чтобы, значит, товар казенный выдали... Пущай Максимка добром вспомнит российских матросиков, как оставят его беспризорного на Надежном мысу. По крайности, не голый будет ходить.

— Да как же ты, Лучкин, будешь лопотать с эстим самым арапчонком? Ни ты его, ни он тебя!..

— Не бойсь, договоримся! Еще как будем-то говорить! — с какою-то непостижимой уверенностью произнес Лучкин. — Он даром что арапского звания, а понятливый... я его, братцы, скоро по-нашему выучу... Он поймет...



И Лучкин ласково взглянул на маленького негра, который, притулившись к борту, любопытно озирался вокруг.

И негр, перехватив этот полный любви и ласки взгляд матроса, тоже в ответ улыбался, оскаливая зубы, широкой благодарной улыбкой, понимая без слов, что этот матрос друг ему.

Когда в половине двенадцатого часа были окончены все утренние работы и вслед за тем вынесли на палубу ендову с водкой и оба боцмана и восемь унтер-офицеров, ставши в кружок, засвистали призыв к водке, который матросы не без остроумия называют «соловьиным пением»,— Лучкин, радостно улыбаясь, показал мальчику на свой рот, проговорив: «Сиди тут, Максимка!» и побежал на шканцы, оставив негра в некотором недоумении.

Недоумение его, впрочем, скоро разрешилось.

Острый запах водки, распространявшийся по всей палубе, и удовлетворенно-серьезные лица матросов, которые, возвращаясь со шканцев, утирали усы своими засмоленными шершавыми руками, напомнили маленькому негру о том, что и на «Бетси» раз в неделю матросам давали по стакану рома, и о том, что капитан пил его ежедневно и, как казалось мальчику, больше, чем бы следовало.

Лучкин, уже вернувшийся к Максимке и после большой чарки водки бывший в благодушном настроении, весело трепанул мальчика по спине и, видимо, желая поделиться с ним приятными впечатлениями, проговорил:

— Бон водка! Вери-гут шнапс, Максимка, я тебе скажу.

Максимка сочувственно кивнул головой и промолвил:

— Вери-гут!

Это быстрое понимание привело Лучкина в восхищение, и он воскликнул:

— Ай да молодца, Максимка! Все понимаешь... А теперь валим, мальчонка, обедать... Небось, есть хочешь?

И матрос довольно наглядно задвигал скулами, открывая рот.

И это понять было не трудно, особенно когда мальчик увидал, как снизу один за другим выходили матросы-артельщики, имея в руках изрядные деревянные баки (мисы) со щами, от которых шел вкусный пар, приятно щекотавший обоняние.

И маленький негр довольно красноречиво замахал головой, и глаза его блеснули радостью.

— Ишь ведь, все понимает! Башковатый! — промолвил Лучкин, начинавший уже несколько пристрастно относиться и к арапчонку, и к своему умению разговаривать с ним понятно, и, взяв Максимку за руку, повел его.

На палубе, прикрытой брезентами, уже расселись, поджав ноги, матросы небольшими артелями, человек по двенадцати, вокруг дымящихся баков со щами из кислой капусты, запасенной еще из Кронштадта, и молча и истово, как вообще едят простолюдины, хлебали варево, заедая его размоченными сухарями.

Осторожно ступая между обедающими, Лучкин подошел с Максимкой к своей артели, расположившейся между грот- и фок-мачтами, и проговорил, обращаясь к матросам, еще не начинавшим, в ожидании Лучкина, обедать:

— А что, братцы, примете в артель Максимку?

— Чего спрашиваешь зря? Садись с арапчонком! — проговорил старый плотник Захарыч.

— Может, другие которые . . . Сказывай, ребята! — снова спросил Лучкин.

Все в один голос отвечали, что пусть арапчонок будет в их артели, и потеснились, чтобы дать им обоим место.

И со всех сторон раздались шутливые голоса:

— Не бойсь, не объест твой Максимка!

— И всю солонину не съест!

— Ему и ложка припасена, твоему арапчонку.

— Да я, братцы, по той причине, что он негра . . . некрещеный, значит, — промолвил Лучкин, присевши к баку и усадивши около себя Максимку: — но только я полагаю, что у бога все равны . . . Всем хлебушка есть хочется . . .

— А то как же? Господь на земле всех терпит . . . Не бойсь, не разбирает. Это вот разве который дурак, как вестовщина Сойкин, мелет безо всякого рассудка об нехристях! — снова промолвил Захарыч.

Все, видимо, разделяли мнение Захарыча. Недаром же русские матросы с замечательной терпимостью относятся к людям всех рас и исповеданий, с какими приходится им встречаться.

Артель отнеслась к Максимке с полным радушием. Один дал ему деревянную ложку, другой придвинул размоченный сухарь, и все глядели ласково на затихшего мальчика, видимо, не привыкшего к особенному вниманию со стороны людей белой кожи, и словно бы приглашали его этими взглядами не робеть.

— Однако и начинать пора, а то щи застынут! — заметил Захарыч.

Все перекрестились и начали хлебать щи.

— Ты что же не ешь, Максимка, а? Ешь, глупый! Шти, братец, скусные. Гут щи! — говорил Лучкин, показывая на ложку.

Но маленький негр, которого на бриге никогда не допускали есть вместе с белыми и который питался объедками один, где-нибудь в темном уголке, робел, хотя и жадными глазами посматривал на щи, глотая слюну.

— Эка пужливый какой! Видно, застращал арапчонка этот самый дьявол-мериканец? — промолвил Захарыч, сидевший рядом с Максимкой.

И с этими словами старый плотник погладил курчавую голову Максимки и поднес к его рту свою ложку...

После этого Максимка перестал бояться и через несколько минут уже усердно уписывал и щи, и накрошенную потом солонину, и пшенную кашу с маслом.

А Лучкин то и дело его похваливал и повторял:

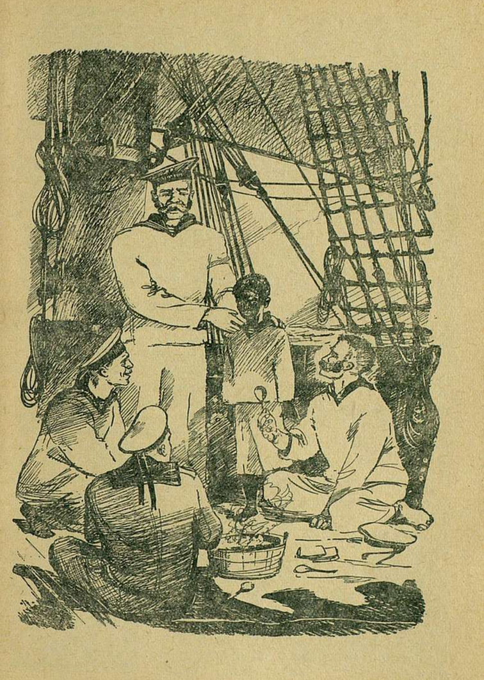
— Вот это бон, Максимка. Вери-гут, братец ты мой. Кушай себе на здоровье!

VII

По всему клиперу раздается храп отдыхающих после обеда матросов. Только отделение вахтенных не спит, да кто-нибудь из хозяйственных матросов, воспользовавшись временем, тачает себе сапоги, шьет рубаху или чинит какую-нибудь принадлежность своего костюма.

А «Забияка» идет да идет себе с благодатным пассатом, и вахтенным решительно нечего делать, пока не набежит грозовое облачко и не заставит моряков на время убрать все паруса, чтобы встретить тропический шквал с проливным дождем готовыми, то есть с оголенными мачтами, предоставляя его ярости меньшую площадь сопротивления.

Но горизонт чист. Ни с одной стороны не видно этого маленького серенького пятнышка, которое, быстро вырастая, несется громадной тучей, застилающей горизонт и солнце. Страшный порыв валит судно набок, страшный ливень стучит по палубе, промачивает до костей, и шквал так же быстро проносится далее, как и появляется. Он нашумел, облил дождем и исчез.



И снова ослепительное солнце, лучи которого быстро сушат и палубу, и снасти, и паруса, и матросские рубахи, и снова безоблачное голубое небо и ласковый океан, по которому бежит, снова одевшись всеми парусами, судно, подгоняемое ровным пассатом.

Благодать кругом и теперь... Тишина и на клипере. «Команда отдыхает», и в это время нельзя без особой крайности беспокоить матросов — такой давно установившийся обычай на судах.

Притулившись в тени у фок-мачты, не спит сегодня и Лучкин, к удивлению вахтенных, знавших, что Лучкин «здоров спать».

Мурлыкая себе под нос песенку, слов которой не разобрать, Лучкин кроил из куска парусины башмаки и по временам взглядывал на растянувшегося около него, сладко спавшего Максимку и на его ноги, чернеющиеся из-за белых штанин, словно бы соображая, правильна ли мерка, которую он снял с этих ног тотчас же после обеда.

Повидимому, наблюдения вполне успокаивают матроса, и он продолжает работу, не обращая больше внимания на маленькие черные ноги.

Что-то радостное и теплое охватывает душу этого бесшабашного пропойцы при мысли о том, что он сделает «на первый сорт» башмаки этому бедному, беспризорному мальчишке и справит ему все, что̀ надо. Вслед за тем невольно проносится вся его матросская жизнь, воспоминание о которой представляет довольно однообразную картину: бесшабашного пьянства и по̀рок за пропитые казенные вещи.

И Лучкин не без основательности заключает, что не будь он отчаянным марсовым, бесстрашие которого приводило в восторг всех капитанов и старших офицеров, с которыми он служил, то давно бы ему быть в арестантских ротах.

— За службу жалели! — проговорил он вслух и почему-то вздохнул и прибавил: — то-то она и загвоздка.

К какому именно обстоятельству относилась эта «загвоздка»: к тому ли, что он отчаянно пьянствовал при съездах на берег и дальше ближайшего кабака ни в одном городе (кроме Кронштадта) не бывал, или к тому, что он был лихой марсовой и потому только не попробовал арестантских рот, — решить было трудно. Но несомненным

было одно: вопрос о какой-то «загвоздке» в его жизни заставил Лучкина на несколько минут прервать мурлыканье, задуматься и в конце концов проговорить вслух:

— И хуфайку бы нужно Максимке... А то какой же человек без хуфайки?

В продолжение часа, полагавшегося на послеобеденный отдых команды, Лучкин успел скроить передки и приготовить подошвы для башмаков Максимки. Подошвы были новые, из казенного товара, приобретенные еще утром в долг у одного хозяйственного матроса, имевшего собственные сапоги, причем «для верности», по предложению самого Лучкина, знавшего, как трудно у него держатся деньги, в особенности на твердой земле, уплату долга должен был произвести боцман, удержав деньги из жалованья.

Когда раздался боцманский свисток и вслед за тем команда «горластого» боцмана Василия Егоровича, или «Егорыча», как звали его матросы, Лучкин стал будить сладко спавшего Максимку. Он хоть и пассажир, а все же должен был, по мнению Лучкина, жить по-матросски, как следует по расписанию, во избежание каких-либо неприятностей, главным образом со стороны Егорыча. Егорыч хоть и был, по убеждению Лучкина, «добер» и дрался не зря, а с «большим рассудком», а все-таки, под сердитую руку, мог съездить по уху и арапчонка за «непорядок». Так уж лучше и арапчонка к порядку приучать.

— Вставай, Максимка! — говорил ласковым тоном матрос, потряхивая за плечо негра.

Тот потянулся, открыл глаза и поглядел вокруг. Увидав, что все матросы встают и Лучкин собирает свою работу, Максимка торопливо вскочил на ноги и, как покорная собачонка, смотрел в глаза Лучкина.

— Да ты не бойся, Максимка... Ишь, глупый... всего боится! А это, братец, тебе будут башмаки...

Хотя негр решительно не понимал, что говорил ему Лучкин, то показывая на его ноги, то на куски скроенной парусины, тем не менее улыбался во весь свой широкий рот, чувствуя, вероятно, что ему говорят что-нибудь хорошее. Доверчиво и послушно пошел он за поманившим его Лучкиным на кубрик и там любопытно смотрел, как матрос уложил в парусиновый чемоданчик, наполненный бельем и платьем, свою работу, и снова ничего не понимал и только опять благодарно улыбался, когда Лучкин снял свою шап-

ку и, показывая пальцем то на нее, то на голову маленького негра, тщетно старался объяснить и словами и знаками, что и у Максимки будет такая же шапка с белым чехлом и лентой.

Но зато негр чувствовал всем своим маленьким сердцем расположение этих белых людей, говоривших совсем не на том языке, на котором говорили белые люди на «Бетси», и особенно доброту этого матроса с красным носом, напоминавшим ему стручковый перец, и с волосами, похожими цветом на паклю, — который подарил ему такое чудное платье, так хорошо угостил его вкусными яствами и так ласково смотрит на него, как никто не глядел на него во всю жизнь, кроме пары чьих-то больших черных на выкате глаз на женском чернокожем лице.

Эти глаза, добрые и нежные, жили в его памяти, как далекое, смутное воспоминание, нераздельное с представлением шалашей, крытых бананами, и высоких пальм. Были ли это грезы или впечатления детства — он, конечно, не мог бы объяснить; но эти глаза, случалось, жалели его во сне. И теперь он увидал и наяву добрые, ласковые глаза.

Да и вообще эти дни пребывания на клипере казались ему теми хорошими грезами, которые являлись только во сне, — до того они не похожи были на недавние, полные страданий и постоянного страха.

Когда Лучкин, бросив объяснения насчет шапки, достал из чемоданчика кусок сахару и дал его Максимке, мальчик был окончательно подавлен. Он схватил мозолистую, шершавую руку матроса и стал ее робко и нежно гладить, заглядывая в лицо Лучкина с трогательным выражением благодарности забитого существа, согретого лаской. Эта благодарность светилась и в глазах и в лице... Она слышалась и в дрогнувших гортанных звуках нескольких слов, порывисто и горячо произнесенных мальчиком на своем родном языке перед тем, как он засунул сахар в рот.

— Ишь ведь, ласковый! Видно, не знал доброго слова, горемычный! — промолвил матрос с величайшей нежностью, которую только мог выразить его сиповатый голос, и потрепал Максимку по щеке. — Ешь сахар-то. Скусный! — прибавил он.

И здесь, в этом темном уголке кубрика, после обмена признаний, закрепилась, так сказать, взаимная дружба ма-

троса с маленьким негром. Оба, казалось, были вполне довольны друг другом.

— Беспременно надо выучить тебя, Максимка, по-нашему, а то и не разобрать, что ты лопочешь, черномазый! Однако, валим наверх! Сейчас антиллеринское ученье. Поглядишь!

Они вышли наверх. Скоро барабанщик пробил артиллерийскую тревогу, и Максимка, прислонившись к мачте, чтоб не быть сбитым с ног, сперва испугался при виде бегущих стремглав к орудиям матросов, но потом скоро успокоился и восхищенными глазами смотрел, как матросы откатывали большие орудия, как быстро совали в них банники и, снова выдвигая орудия за борт, недвижно замирали около них. Мальчик ждал, что будут стрелять, и недоумевал, в кого это хотят стрелять, так как на горизонте не было ни одного судна. А он уже был знаком с выстрелами и даже видел, как близко шлепнулась какая-то штука за кормою «Бетси», когда она, спустившись по ветру, удирала во все лопатки от какого-то трехмачтового судна, которое гналось за шкуной, наполненной грузом негров. Мальчик видел испуганные лица у всех на «Бетси» и слышал, как ругался капитан, пока трехмачтовое судно не стало значительно отставать. Он не знал, конечно, что это был один из военных английских крейсеров, назначенный для ловли негропромышленников, и тоже радовался, что шкуна убежала, и таким образом его мучитель-капитан не был пойман и не вздернут на нока-рее за позорную торговлю людьми. [1]

Но выстрелов не было, и Максимка так их и не дождался. Зато с восхищением слушал барабанную дробь и не спускал глаз с Лучкина, который стоял у бокового орудия комендором и часто нагибался, чтобы прицеливаться.

Зрелище ученья очень понравилось Максимке, но не менее понравился ему и чай, которым после ученья угостил его Лучкин. Сперва Максимка только диву давался, глядя,

---

[1] В прежнее время, когда особенно процветала торговля неграми, состоялась международная конвенция между всеми почти государствами Европы о противодействии этому злу. В силу этой конвенции Франция и Англия посылали к берегам Африки и Америки военные крейсеры для ловли негропромышленников. С пойманными расправлялись строго. Капитана и помощника его вешали, а матросов отправляли в каторжные работы. Негров объявляли свободными, а пойманные суда делались призом поймавших.

как все матросы дуют горячую воду из кружек, закусывая сахаром и обливаясь пòтом. Но когда Лучкин дал и ему кружку и сахару, Максимка вошел во вкус и выпил две кружки.

Что же касается первого урока русского языка, начатого Лучкиным в тот же день, перед вечером, когда начала спадать жара и когда, по словам матроса, было «легче войти в понятие», то начало его — признаться — не предвещало особенных успехов и вызывало немало-таки насмешек среди матросов при виде тщетных усилий Лучкина объяснить ученику, что его зовут Максимкой, а что учителя зовут Лучкиным.

Однако Лучкин хоть и не был никогда педагогом, тем не менее обнаружил такое терпение, такую выдержку и мягкость в стремлении во что бы то ни стало заложить, так сказать, первое основание обучения, — каковым он считал знание имени, — что им могли бы позавидовать патентованные педагоги, которым вдобавок едва ли приходилось преодолевать трудности, представившиеся матросу.

Придумывая более или менее остроумные способы для достижения заданной себе цели, Лучкин тотчас же приводил их и в исполнение.

Он тыкал в грудь маленького негра и говорил: «Максимка», затем показывал на себя и говорил: «Лучкин». Проделав это несколько раз и не достигнув удовлетворительного результата, Лучкин отходил на несколько шагов и вскрикивал: «Максимка!» Мальчик скалил зубы, но не усваивал и этого метода. Тогда Лучкин придумал новую комбинацию. Он попросил одного матросика крикнуть: «Максимка!» — и когда матрос крикнул, Лучкин не без некоторого довольства человека, уверенного в успехе, указал пальцем на Максимку и даже для убедительности осторожно затем встряхнул его за шиворот. Увы! Максимка весело смеялся, но, очевидно, понял встряхивание за приглашение потанцовать, потому что тотчас же вскочил на ноги и стал отплясывать, к общему удовольствию собравшейся кучки матросов и самого Лучкина.

Когда танец был окончен, маленький негр отлично понял, что пляской его остались довольны, потому что многие матросы трепали его и по плечу, и по спине, и по голове и говорили, весело смеясь:

— Гут, Максимка! Молодца, Максимка!

Трудно сказать, насколько бы увенчались успехом дальнейшие попытки Лучкина познакомить Максимку с его именем, — попытки, к которым Лучкин хотел было вновь приступить, - но появление на баке мичмана, говорящего по-английски, значительно упростило дело. Он объяснил мальчику, что он не «бой», а Максимка, и кстати сказал, что Максимкина друга зовут Лучкин.

— Теперь, брат, он знает, как ты его прозвал! — проговорил, обращаясь к Лучкину, мичман.

— Премного благодарен, ваше благородие! — отвечал обрадованный Лучкин и прибавил: — а то я, ваше благородие, долго бился... Мальчонка башковатый, а никак не мог взять в толк, как его зовут.

— Теперь знает... Ну-ка, спроси.

— Максимка!

Маленький негр указал на себя.

— Вот так ловко, ваше благородие... Лучкин! — снова обратился матрос к мальчику.

Мальчик указал пальцем на матроса.

И оба они весело смеялись. Смеялись и матросы и замечали:

— Арапчонок в науку входит...

Дальнейший урок пошел как по маслу.

Лучкин указывал на разные предметы и называл их, причем, при малейшей возможности исковеркать слово, коверкал его, говоря вместо рубаха — «рубах», вместо мачта — «мачт», уверенный, что при таком изменении слов они более похожи на иностранные и легче могут быть усвоены Максимкой.

Когда просвистали ужинать, Максимка уже мог повторять за Лучкиным несколько русских слов.

— Ай да Лучкин! Живо обучил арапчонка. Того и гляди, до Надежного мыса понимать станет по-нашему! — говорили матросы.

— Еще как поймет-то! До Надежного ходу никак не меньше двадцати ден... А Максимка понятливый!

При слове «Максимка» мальчик взглянул на Лучкина.

— Ишь, твердо знает свою кличку!.. Садись, братец, ужинать будем!

Когда после молитвы роздали койки, Лучкин уложил Максимку около себя на палубе. Максимка, счастливый и благодарный, приятно потягивался на матросском тюфячке, с подушкой под головой и под одеялом, — все это

Лучкин исхлопотал у подшкипера, отпустившего арапчонку койку со всеми принадлежностями.

— Спи, спи, Максимка! Завтра рано вставать!

Но Максимка и без того уже засыпал, проговорив довольно недурно для первого урока: «Максимка» и «Лючики», как переделал он фамилию своего пестуна.

Матрос перекрестил маленького негра и скоро уже храпел во всю ивановскую.

С полуночи он стал на вахту и вместе с фор-марсовым Леонтьевым полез на фор-марс.

Там они присели, осмотрев предварительно, все ли в порядке, и стали «лясничать», чтобы не одолевала дрема. Говорили о Кронштадте, вспоминали командиров... и смолкли.

— И никогда ты, Леонтьев, этой самой водкой не занимался?

Трезвый, степенный и исправный Леонтьев, уважавший Лучкина, как знающего фор-марсового, работавшего на ноке, и несколько презиравший в то же время его за пьянство, — категорически ответил:

— Ни в жисть!

— Вовсе, значит, не касался?

— Разве когда стаканчик в праздник.

— То-то ты и чарки своей не пьешь, а деньги за чарки забираешь?

— Деньги-то, братец, нужнее... Вернемся в Россию, ежели выйдет отставка, при деньгах ты завсегда обернешься...

— Это что говорить...

— Да ты к чему это, Лучкин, насчет водки?..

— А к тому, что ты, Леонтьев, задачливый матрос...

Лучкин помолчал и затем опять спросил:

— Сказывают: заговорить можно от пьянства?

— Заговаривают люди, это верно... На «Копчике» одного матроса заговорил унтерцер... Слово такое знал... И у нас есть такой человек...

— Кто?

— А плотник Захарыч... Только он в секрете держит. Не всякого уважит. А ты нешто хочешь бросить пьянство, Лучкин? — насмешливо промолвил Леонтьев.

— Бросить не бросить, а чтобы, значит, без пропою вещей...

— Попробуй пить с рассудком...

— Пробовал. Ничего не выходит, братец ты мой. Как дорвусь до винища — и пропал. Такая моя линия!

— Рассудку в тебе нет настоящего, а не линия, — внушительно заметил Леонтьев. — Каждый человек должен себя понимать... А ты все-таки поговори с Захарычем. Может, и не откажет... Только вряд ли тебя заговорит! — прибавил насмешливо Леонтьев.

— То-то и я так полагаю! Не заговорит! — вымолвил Лучкин и сам почему-то усмехнулся, точно довольный, что его не заговорить.

VIII

Прошло три недели, и хотя «Забияка» был недалеко от Каптоуна, но попасть в него не мог. Свежий противный ветер, дувший, как говорят моряки, прямо «в лоб» и по временам доходивший до степени шторма, не позволял клиперу приблизиться к берегу; при этом ветер и волнение были так сильны, что нечего было и думать пробовать итти под парами. Даром потратили бы уголь.

И в ожидании перемены погоды «Забияка» с зарифлеными марселями держался недалеко от берегов, стремительно покачиваясь на океане.

Так прошло дней шесть-семь.

Наконец ветер стих. На «Забияке» развели пары, и скоро, попыхивая дымком из своей белой трубы, клипер направился к Каптоуну.

Нечего и говорить, как рады были этому моряки.

Но был один человек на клипере, который не только не радовался, а, напротив, по мере приближения «Забияки» к порту, становился задумчивее и угрюмее.

Это был Лучкин, ожидавший разлуки с Максимкой.

За этот месяц, в который Лучкин, против ожидания матросов, не переставал пестовать Максимку, он привязался к Максимке, да и маленький негр в свою очередь привязался к матросу. Они отлично понимали друг друга, так как и Лучкин проявил блистательные педагогические способности, и Максимка обнаружил достаточную понятливость и мог объясниться кое-как по-русски. Чем более они узнавали один другого, тем более дружили. Уж у Максимки были две смены платья, башмаки, шапка и матросский нож на ремешке. Он оказался смышленым и веселым мальчиком

и давно уже сделался фаворитом всей команды. Даже и боцман Егорыч, вообще не терпевший никаких пассажиров на судне, как людей, ничего не делающих, относился весьма милостиво к Максимке, так как Максимка всегда во время работ тянул вместе с другими снасти и вообще старался чем-нибудь да помочь другим и, так сказать, не даром есть матросский паек. И по вантам взбегал, как обезьяна, и во время шторма не обнаруживал ни малейшей трусости, одним словом, был во всех статьях «морской мальчонка».

Необыкновенно добродушный и ласковый, он нередко забавлял матросов своими танцами на баке и родными песнями, которые распевал звонким голосом. Все его за это баловали, а мичманский вестовой Артюшка нередко нашивал ему остатки пирожного с кают-компанейского стола.

Нечего и прибавлять, что Максимка был предан Лучкину, как собачонка, всегда был при нем и, что называется, смотрел ему в глаза. И на марс к нему лазил, когда Лучкин бывал там во время вахты, и на носу с ним сидел на часах, и усердно старался выговаривать русские слова...

Уже обрывистые берега были хорошо видны... «Забияка» шел полным ходом. К обеду должны были стать на якорь в Каптоуне.

Невеселый был Лучкин в это славное солнечное утро и с каким-то особенным ожесточением чистил пушку. Около него стоял Максимка и тоже подсоблял ему.

— Скоро прощай, брат, Максимка! — заговорил наконец Лучкин.

— Зачем прощай? — удивился Максимка.

— Оставят тебя на Надежном мысу... Куда тебя девать?

Мальчик, не думавший о своей будущей судьбе и не совсем понимавший, что́ ему говорит Лучкин, тем не менее догадался по угрюмому выражению лица матроса, что сообщение его не из радостных, и подвижное лицо его, быстро отражавшее впечатления, внезапно омрачилось, и он сказал:

— Мой не понимай Лючика.

— Айда, брат, с клипера... На берегу оставят... Я уйду дальше, а Максимка здесь.

И Лучкин пантомимами старался пояснить, в чем дело.

Повидимому, маленький негр понял. Он ухватился за руку Лучкина и молящим голоском проговорил:

— Мой нет берег... Мой здесь. Максимка, Лючика, Лючика, Максимка. Мой люсска матлос... Да, да, да...

И тогда внезапная мысль озарила матроса. И он спросил:

— Хочешь, Максимка, русска матрос?

— Да, да, — повторял Максимка и изо всех сил кивал головой.

— То-то бы отлично! И как это мне раньше невдомек... Надо поговорить с ребятами и просить Егорыча... Он доложит старшему офицеру...

Через несколько минут Лучкин на баке говорил собравшимся матросам:

— Братцы! Максимка желает остаться с нами. Будем просить, чтобы дозволили ему остаться... Пусть плавает на «Забияке»! Как вы об этом полагаете, братцы?

Все матросы выразили живейшее одобрение этому предложению.

Вслед за тем Лучкин пошел к боцману и просил его доложить о просьбе команды старшему офицеру и прибавил:

— Уж ты, Егорыч, уважь, не откажи... И попроси старшего офицера... Максимка сам, мол, желает... А то куда же бросить бесприютного сироту на Надежном мысу. И вовсе он пропасть там может, Егорыч... Жаль мальчонку... Хороший он ведь, исправный мальчонка.

— Что ж, я доложу... Максимка мальчишка аккуратный. Только как капитан... Согласится ли арапского звания негру оставить на российском корабле... Как бы не было в этом загвоздки...

— Никакой не будет загвоздки, Егорыч. Мы Максимку из арапского звания выведем.

— Как так?

— Окрестим в русскую веру, Егорыч, и будет он, значит, русского звания .арап.

Эта мысль понравилась Егорычу, и он обещал немедленно доложить старшему офицеру.

Старший офицер выслушал доклад боцмана и заметил:

— Это, видно, Лучкин хлопочет.

— Вся команда тоже просит за арапчонка, ваше благородие... А то куда его бросить? Жалеют... А он бы у нас заместо юнги был, ваше благородие! Арапчонок исправный, осмелюсь доложить. И ежели его окрестить, вовсе душу, значит, можно спасти...

Старший офицер обещал доложить капитану.

К подъему флага вышел наверх капитан. Когда старший офицер передал ему просьбу команды, капитан сперва было отвечал отказом. Но, вспомнив, вероятно, своих детей, тотчас же переменил решение и сказал:

— Что ж, пусть останется. Сделаем его юнгой... А вернется в Кронштадт с нами... что-нибудь для него сделаем... В самом деле, за что его бросать, тем более, что он сам этого не хочет!.. Да пусть Лучкин останется при нем дядькой... Пьяница отчаянный этот Лучкин, а подите... эта привязанность к мальчику... Мне доктор говорил, как он одел негра.

Когда на баке было получено разрешение оставить Максимку, все матросы чрезвычайно обрадовались. Но больше всех, конечно, радовались Лучкин и Максимка.

В час дня клипер бросил якорь на Каптоунском рейде, и на другой день первая вахта была отпущена на берег. Собрался ехать и Лучкин с Максимкой.

— А ты смотри, Лучкин, не пропей Максимки-то! — смеясь заметил Егорыч.

Это замечание, видимо, очень кольнуло Лучкина, и он ответил:

— Может, из-за Максимки я и вовсе тверезый вернусь!

Хотя Лучкин и вернулся с берега мертвецки пьяным, но, к общему удивлению, в полном одеянии. Как потом оказалось, случилось это благодаря Максимке, так как он, заметив, что его друг чересчур пьет, немедленно побежал в соседний кабак за русскими матросами, и они унесли Лучкина на пристань и положили в шлюпку, где около него безотлучно находился Максимка.

Лучкин едва вязал языком и все повторял:

— Где Максимка? Подайте мне Максимку... Я его, братцы, не пропил, Максимку... Он мне первый друг... Где Максимка?

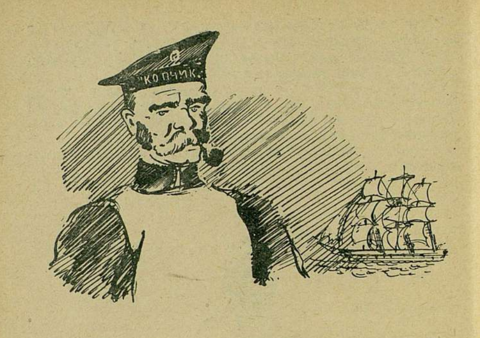
И, когда Максимка подошел к Лучкину, тот тотчас же успокоился и скоро заснул.

Через неделю «Забияка» ушел о мыса Доброй Надежды, и вскоре после выхода Максимка был не без торжественности окрещен и вторично назван Максимкой. Фамилию ему дали по имени клипера «Забиякин».

Через три года Максимка вернулся на «Забияке» в Кронштадт четырнадцатилетним подростком, умевшим отлично читать и писать по-русски благодаря мичману «Петеньке», который занимался с ним.

Капитан позаботился о нем и определил его в школу фельдшерских учеников, а вышедший в отставку Лучкин остался в Кронштадте, чтобы быть около своего любимца, которому он отдал всю привязанность своего сердца и ради которого уже теперь не пропивал вещей, а пил «с рассудком».





Посвящается
Константину Константиновичу
СТАНЮКОВИЧУ.

НЯНЬКА

I

Однажды вешним утром, когда в кронштадтских гаванях давно уже кипели работы по изготовлению судов к летнему плаванию, в столовую небольшой квартиры капитана второго ранга Василия Михайловича Лузгина вошел денщик, исполнявший обязанности лакея и повара. Звали его Иван Кокорин.

Обдергивая только что надетый поверх форменной матросской рубахи засаленный черный сюртук, Иван доложил своим мягким, вкрадчивым тенорком:

— Новый денщик явился, барыня. Барин из экипажа прислали.

Барыня, молодая, видная блондинка с большими серыми глазами, сидела за самоваром, в голубом капоте, в маленьком чепце на голове, прикрывавшем неубранные, завязанные в узел светло-русые волосы, и пила кофе. Рядом с ней, на высоком стульчике, лениво отхлебывал молоко,

болтая ногами, черноглазый мальчик лет семи или восьми, в красной рубашке с золотым позументом. Сзади стояла, держа грудного ребенка на руках, молодая, худощавая, робкая девушка, босая и в затасканном ситцевом платье. Ее все звали Анюткой. Она была единственной крепостной Лузгиной, отданной ей в числе приданого еще подростком.

— Ты, Иван, знаешь этого денщика? — спросила барыня, поднимая голову.

— Не знаю, барыня.

— А как он на вид?

— Как есть грубая матрозня! Безо всякого обращения, барыня! — отвечал Иван, презрительно выпячивая свои толстые, сочные губы.

Сам он вовсе не походил на матроса.

Полнотелый, гладкий и румяный, с рыжеватыми намасленными волосами, с веснушчатым, гладко выбритым лицом человека лет тридцати пяти и с маленькими, заплывшими глазками, он и наружным своим видом и некоторою развязностью манер напоминал собою скорее дворового, привыкшего жить около господ.

Он с первого же года службы попал в денщики и с тех пор постоянно находился на берегу, ни разу не ходивши в море.

У Лузгиных он жил в денщиках вот уже три года и, несмотря на требовательность барыни, умел угождать ей.

— А не заметно, что он пьяница? — снова спросила барыня, не любившая пьяных денщиков.

— Не оказывает будто по личности, а кто его знает? Да вот сами изволите осмотреть и допросить денщика, барыня, — прибавил Иван.

— Ну, пошли его сюда.

Иван вышел, бросив на Анютку быстрый, нежный взгляд.

Анютка сердито повела бровями.

II

В дверях показался коренастый, маленького роста, чернявый матрос с медною серьгою в ухе. На вид ему было лет пятьдесят. Застегнутый в мундир, высокий воротник которого резал его красно-бурую шею, он казался неуклюжим и весьма неказистым. Переступив осторожно через по-

рог, матрос вытянулся как следует перед начальством, вытаращил на барыню слегка глаза и замер в неподвижной позе, держа по швам здоровенные волосатые руки, жилистые и черные от впитавшейся смолы.

На правой руке недоставало двух пальцев.

Этот черный, как жук, матрос с грубыми чертами некрасивого, рябоватого, с красной кожей лица, сильно заросшего черными, как смоль, баками и усами, с густыми взъерошенными бровями, которые придавали его типичной физиономии заправского марсового несколько сердитый вид, — произвел на барыню, видимо, неприятное впечатление.

«Точно лучше не мог найти», мысленно произнесла она, досадуя, что муж выбрал такого грубого мужлана.

Она снова оглядела стоявшего неподвижно матроса и обратила внимание и на его слегка изогнутые ноги с большими, точно медвежьими ступнями, и на отсутствие двух пальцев, и — главное — на нос, широкий мясистый нос, малиновый цвет которого внушил ей тревожные подозрения.

— Здравствуй! — произнесла наконец барыня недовольным, сухим тоном, и ее большие серые глаза стали строги.

— Здравия желаю, вашескобродие, — гаркнул в ответ матрос зычным баском, видимо, не сообразив размера комнаты.

— Не кричи так! — строго сказала она и оглянулась, не испугался ли ребенок. — Ты, кажется, не на улице, а в комнате. Говори тише.

— Есть, вашескобродие, — значительно понижая голос, ответил матрос.

— Еще тише. Можешь говорить тише?

— Буду стараться, вашескобродие! — произнес он совсем тихо и сконфуженно, предчувствуя, что барыня будет «нудить» его.

— Как тебя зовут?

— Федосом, вашескобродие.

Барыня поморщилась, точно от зубной боли. Совсем неблагозвучное имя!

— А фамилия?

— Чижик, вашескобродие!

— Как? — переспросила барыня.

— Чижик... Федос Чижик!

И барыня и мальчуган, давно уже оставивший молоко и не спускавший любопытных и несколько испуганных глаз с этого волосатого матроса, невольно засмеялись, а Анют-

ка фыркнула в руку, — до того фамилия эта не подходила к его наружности.

И на серьезном, напряженном лице Федоса Чижика появилась необыкновенно добродушная и приятная улыбка, которая словно подтверждала, что и сам Чижик находит свое прозвище несколько смешным.

Мальчик перехватил эту улыбку, совсем преобразившую суровое выражение лица матроса. И нахмуренные его брови, и усы, и баки не смущали больше мальчика. Он сразу почувствовал, что Чижик добрый, и он ему теперь решительно нравился. Даже и запах смолы, который шел от него, показался ему особенно приятным и значительным.

И он сказал матери:

— Возьми, мама, Чижика.

— Taisez-vous! — заметила мать.

И, принимая серьезный вид, продолжала допрос:

— У кого ты прежде был денщиком?

— Вовсе не был в этом звании, вашескобродие.

— Никогда не был денщиком?

— Точно так, вашескобродие. По флотской части состоял. Форменным, значит, матросом, вашескобродие...

— Зови меня просто барыней, а не своим дурацким вашескобродием.

— Слушаю, вашеско... виноват, барыня!

— И вестовым никогда не был?

— Никак нет.

— Почему же тебя теперь назначили в денщики?

— По причине пальцев! — отвечал Федос, опуская глаза на руку, лишенную большого и указательного пальцев. — Марса-фалом оторвало прошлым летом на «конверте», на «Копчике»...

— Так муж тебя знает?

— Три лета с ими на «Копчике» служил под их командой.

Это известие, казалось, несколько успокоило барыню. И она уже менее сердитым тоном спросила:

— Ты водку пьешь?

— Употребляю, барыня! — добросовестно признался Федос.

— И... много ее пьешь?

— В плепорцию, барыня.

Барыня недоверчиво покачала головой.

— Но отчего же у тебя нос такой красный, а?

— Сроду такой, барыня.

— А не от водки?

— Не должно быть. Я завсегда в своем виде, ежели когда и выпью в праздник.

— Денщику пить нельзя... Совсем нельзя... Я терпеть не могу пьяниц! Слышишь? — внушительно прибавила барыня.

Федос повел несколько удивленным взглядом на барыню и промолвил, чтобы подать реплику:

— Слушаю-с!

— Помни это.

Федос дипломатически промолчал.

— Муж говорил, на какую должность тебя берут?

— Никак нет. Только приказали явиться к вам.

— Ты будешь ходить вот за этим маленьким барином, — указала барыня движением головы на мальчика. — Будешь при нем нянькой.

Федос ласково взглянул на мальчика, а мальчик на Федоса, и оба улыбнулись.

Барыня стала перечислять обязанности денщика-няньки. Он должен будить маленького барина в восемь часов и одеть его, весь день находиться при нем безотлучно и беречь его, как зеницу ока. Каждый день ходить гулять с ним... В свободное время стирать его белье...

— Ты стирать умеешь?

— Свое белье сами стираем! — отвечал Федос и подумал, что барыня, должно быть, не очень башковата, если спрашивает, умеет ли матрос стирать.

— Подробности всех твоих обязанностей я потом объясню, а теперь отвечай: понял ты, что от тебя требуется?

В глазах матроса скользнула едва заметная улыбка. «Не трудно, дескать, понять!» говорила, казалось, она.

— Понял, барыня! — отвечал Федос, несколько удрученный и этим торжественным тоном, каким говорила барыня, и этими длинными объяснениями, и окончательно решил, что в барыне большого рассудка нет, коли она так зря «языком брешет».

— Ну, а детей ты любишь?..

— За что детей не любить, барыня. Известно... дитё. Что с него взять...

— Иди на кухню теперь и подожди, пока вернется Василий Михайлович... Тогда я окончательно решу: оставлю я тебя или нет.

Находя, что матросу в мундире следует добросовестно исполнить роль понимающего муштру подчиненного, Федос, по всем правилам строевой службы, повернулся налево кругом, вышел из столовой и прошел на двор покурить трубочки.

III

— Ну, что, Шура, тебе, кажется, понравился этот мужлан?

— Понравился, мама. И ты его возьми.

— Вот у папы спросим: не пьяница ли он?

— Да ведь Чижик говорил тебе, что не пьяница.

— Ему верить нельзя.

— Отчего?

— Он матрос... мужик. Ему ничего не стоит солгать.

— А он умеет рассказывать сказки? Он будет со мной играть?

— Верно, умеет и играть должен...

— А вот Антон не умел и не играл со мной.

— Антон был лентяй, пьяница и грубиян.

— За это его и посылали в экипаж, мама?

— Да.

— И там секли?

— Да, милый, чтобы его исправить.

— А он возвращался из экипажа всегда сердитый... И со мной даже говорить не хотел...

— Оттого, что Антон был дурной человек. Его ничем нельзя было исправить.

— Где теперь Антон?

— Не знаю...

Мальчик примолк, задумавшись, и наконец серьезно проговорил:

— А уж ты, мама, если меня любишь, не посылай Чижика в экипаж, чтобы его там секли, как Антона, а то и Чижик не будет рассказывать мне сказок и будет браниться, как Антон...

— Он разве смел тебя бранить?

— Подлым отродьем называл... Это, верно, что-нибудь нехорошее...

— Ишь, негодяй какой!.. Зачем же ты, Шура, не сказал мне, что он тебя так называл?

— Ты послала бы его в экипаж, а мне его жалко...

— Таких людей не стоит жалеть... И ты, Шура, не должен ничего скрывать от матери.

При разговоре об Антоне Анютка подавила вздох.

Этот молодой, кудрявый Антон, дерзкий и бесшабашный, любивший выпить и тогда хвастливый и задорный, оставил в Анютке самые приятные воспоминания о тех двух месяцах, что он пробыл в няньках у барчука.

Влюбленная в молодого денщика, Анютка нередко проливала слезы, когда барин, по настоянию барыни, отправлял Антона в экипаж для наказания. А это частенько случалось. И до сих пор Анютка с восторгом вспоминает, как хорошо он играл на балалайке и пел песни. И какие у него смелые глаза! Как он не спускал самой барыне, особенно когда выпьет! И Анютка втайне страдала, сознавая безнадежность своей любви. Антон не обращал на нее ни малейшего внимания и ухаживал за соседской горничной.

Куда он милее этого барыниного наушника, противного рыжего Ивана, который преследует ее своими любезностями... Тоже воображает о себе, рыжий дьявол! Проходу на кухне не дает...

В эту минуту ребенок, бывший на руках у Анютки, проснулся и залился плачем.

Анютка торопливо заходила по комнате, закачивая ребенка и напевая ему песни звонким, приятным голоском.

Ребенок не унимался. Анютка пугливо взглядывала на барыню.

— Подай его сюда, Анютка! Совсем ты не умеешь нянчить! — раздражительно крикнула молодая женщина, расстегивая белою пухлою рукой ворот капота.

Очутившись у груди матери, малютка мгновенно затих и жадно засосал, быстро перебирая губенками и весело глядя перед собою глазами, полными слез.

— Убирай со стола, да смотри, не разбей чего-нибудь.

Анютка бросилась к столу и стала убирать с бестолковой торопливостью запуганного создания.

IV

В начале первого часа, когда в порту зашабашили, из военной гавани, где вооружался «Копчик», вернулся домой Василий Михайлович Лузгин, довольно полный, представи-

тельный брюнет, лет сорока, с небольшим брюшком и лысый, в потертом рабочем сюртуке, усталый и голодный.

В момент его прихода завтрак был на столе.

Моряк звонко поцеловал жену и сына и выпил одну за другой две рюмки водки. Закусив селедкой, он набросился на бифштекс с жадностью сильно проголодавшегося человека. Еще бы! С пяти часов утра, после двух стаканов чая, он ничего не ел.

Утолив голод, он нежно взглянул на свою молодую, приодетую, пригожую жену и спросил:

— Ну что, Марусенька, понравился новый денщик?

— Разве такой денщик может понравиться?

В маленьких, добродушных, темных глазах Василия Михайловича мелькнуло беспокойство.

— Грубый, неотесанный какой-то... Сейчас видно, что никогда не служил в домах.

— Это точно, но зато, Маруся, он надежный человек. Я его знаю.

— И этот подозрительный нос... Он, наверное, пьяница! — настаивала жена.

— Он пьет чарку-другую, но уверяю тебя, что не пьяница, — осторожно и необыкновенно мягко возразил Лузгин.

И, зная хорошо, что Марусенька не любит, когда ей противоречат, считая это кровной обидой, он поспешил прибавить:

— Впрочем, как хочешь. Если не нравится, я прииску другого денщика.

— Где опять искать?.. Шуре не с кем гулять... Уж бог с ним... Пусть остается, поживет... Я посмотрю, какое это сокровище твой Чижик!

— Фамилия у него, действительно, смешная! — проговорил, смеясь, Лузгин.

— И имя самое мужицкое... Федос!

— Что ж, можно его иначе звать, как тебе угодно... Ты, право, Маруся, не раскаешься... Он честный и добросовестный человек... Какой фор-марсовой был!.. Но если ты не хочешь — отошлем Чижика... Твоя княжая воля...

Марья Ивановна и без уверений мужа знала, что влюбленный в нее простодушный и простоватый Василий Михайлович делал все, что только она хотела, и был покорнейшим ее рабом, ни разу в течение десятилетнего супру-

жества и не помышлявшим о свержении ига своей красивой жены.

Тем не менее она нашла нужным сказать:

— Хоть мне и не нравится этот Чижик, но я оставлю его, так как ты этого хочешь.

— Но, Марусенька... Зачем?.. Если ты не хочешь...

— Я его беру! — властно произнесла Марья Ивановна.

Василию Михайловичу оставалось только благодарно взглянуть на Марусеньку, оказавшую такое внимание к его желанию. И Шурка был очень доволен, что Чижик будет его нянькой.

Нового денщика опять позвали в столовую. Он снова вытянулся у порога и без особенной радости выслушал объявление Марьи Ивановны, что она его оставляет.

Завтра же утром он переберется к ним со своими вещами. Поместится вместе с поваром.

— А сегодня в баню сходи... Отмой свои черные руки, — прибавила молодая женщина, не без брезгливости взглядывая на просмоленные, шершавые руки матроса.

— Осмелюсь доложить, враз не отмоешь... Смола! — пояснил Федос и, как бы в подтверждение справедливости этих слов, перевел взгляд на бывшего своего командира.

«Дескать, объясни ей, коли она ничего не понимает».

— Со временем смола выйдет, Маруся... Он постарается ее вывести...

— Так точно, вашескобродие.

— И не кричи ты так, Феодосий... Уж я тебе несколько раз говорила...

— Слышишь, Чижик... Не кричи! — подтвердил Василий Михайлович.

— Слушаю, вашескобродие...

— Да смотри, Чижик, служи в денщиках так же хорошо, как служил на корвете. Береги сына.

— Есть, вашескобродие!

— И водки в рот не бери! — заметила барыня.

— Да, братец, остерегайся, — нерешительно поддакнул Василий Михайлович, чувствуя в то же время фальшь и тщету своих слов и уверенный, что Чижик при случае выпьет в меру.

— Да вот еще что, Феодосий... Слышишь, я тебя буду звать Феодосием...

— Как угодно, барыня.

— Ты разных там мерзких слов не говори, особенно при ребенке. И если на улице матросы ругаются, уводи барина.

— То-то, не ругайся, Чижик. Помни, что ты не на баке, а в комнатах!

— Не извольте сумлеваться, вашескобродие.

— И во всем слушайся барыни. Что она прикажет, то и исполняй. Не противоречь . . .

— Слушаю, вашескобродие . . .

— Боже тебя сохрани, Чижик, осмелиться нагрубить барыне. За малейшую грубость я велю тебе шкуру спустить! — строго и решительно сказал Василий Михайлович. — Понял?

— Понял, вашескобродие.

Наступило молчание.

«Слава богу, конец!» подумал Чижик.

— Он больше тебе не нужен, Марусенька?

— Нет.

— Можешь итти, Чижик . . . Скажи фельдфебелю, что я взял тебя! — проговорил Василий Михайлович добродушным тоном, словно бы минуту тому назад и не грозил «спустить шкуру».

Чижик вышел словно из бани и, признаться, был сильно озадачен поведением бывшего своего командира.

Еще бы!

На корвете он казался орел-орлом, особенно когда стоял на мостике во время авралов или управлялся в свежую погоду, а здесь вот, при жене, совсем другой, «вроде быдто послушливого теленка». И опять же: на службе он был с матросом «добер», драл редко и с рассудком, а не зря, и этот же самый командир из-за своей «белобрысой» шкуру грозит спустить.

«Эта заноза-баба всем здесь командует!» подумал Чижик не без некоторого презрительного сожаления к бывшему своему командиру.

«Ей, значит, трафь», мысленно проговорил он.

— К нам перебираетесь, земляк? — остановил его на кухне Иван.

— То-то к вам, — довольно сухо отвечал Чижик, вообще не любивший денщиков и вестовых и считавший их, по сравнению с настоящими матросами, лодырями.

— Места, небось, хватит . . . У нас помещение просторное. . . Не прикажете ли цыгарку? . .

— Спасибо, братец. Я — трубку... Пока что до свидания.

Дорогой в экипаж Чижик размышлял о том, что в денщиках, да еще с такой «занозой», как Лузгиниха, будет «нудно». Да и вообще жить при господах ему не нравилось.

И он пожалел, что ему оторвало марса-фалом пальцы. Не лишись он пальцев, был бы он попрежнему форменным матросом до самой отставки.

— А то: «водки в рот не бери!» Скажи, пожалуйста, что выдумала бабья дурья башка! — вслух проговорил Чижик, подходя к казармам.

V

К восьми часам следующего утра Федос перебрался к Лузгиным со своими пожитками — небольшим сундучком, тюфяком, подушкой в чистой наволочке розового ситца, недавно подаренной кумой-боцманшей, и балалайкой. Сложив все это в угол кухни, он снял с себя стесняющий его мундир и, облачившись в матросскую рубаху и надевши башмаки, явился к барыне, готовый вступить в свои новые обязанности няньки.

В свободно сидевшей на нем рубахе с широким отложным воротом, открывавшим крепкую, жилистую шею, и в просторных штанах Федос имел совсем другой — непринужденный и даже не лишенный некоторой своеобразной приятности — вид лихого, бывалого матроса, сумеющего найтись при всяких обстоятельствах. Все на нем сидело ловко и производило впечатление опрятности. И пахло от него, по мнению Шурки, как-то особенно приятно: смолой и махоркой.

Барыня, внимательно оглядевшая и Федоса, и его костюм, нашла, что новый денщик ничего себе, не так уже безобразен и мужиковат, как казался вчера. И выражение лица не такое суровое.

Только его темные руки все еще смущали госпожу Лузгину, и она спросила, кидая брезгливый взгляд на руки матроса:

— Ты в бане был?

— Точно так, барыня. — И, словно бы оправдываясь, прибавил: — Сразу смолы не отмыть. Никак невозможно.

— Ты все-таки чаще руки мой. Держи их чисто.

— Слушаю-с.

Затем молодая женщина, опустив глаза на парусинные башмаки Федоса, заметила строгим тоном:

— Смотри... Не вздумай еще босым показываться в комнатах. Здесь не палуба и не матросы...

— Есть, барыня.

— Ну, ступай, напейся чаю... Вот тебе кусок сахара.

— Покорно благодарю! — отвечал матрос, осторожно принимая кусок, чтобы не коснуться своими пальцами белых пальцев барыни.

— Да долго не сиди на кухне. Приходи к Александру Васильевичу.

— Приходи поскорей, Чижик! — попросил и Шурка.

— Живо обернусь, Лександра Васильич!

С первого же дня Федос вступил с Шуркой в самые приятельские отношения.

Первым делом Шурка повел Федоса в детскую и стал показывать свои многочисленные игрушки. Некоторые из них возбудили удивление в матросе, и он рассматривал их с любопытством, чем доставил мальчику большое удовольствие. Сломанную мельницу и испорченный пароход Федос обещал починить — будут действовать.

— Ну? — недоверчиво спросил Шурка. — Ты разве сумеешь?

— То-то попробую.

— Ты и сказки умеешь, Чижик?

— И сказки умею.

— И будешь мне рассказывать?

— Отчего ж не рассказать? По времени можно и сказку.

— А я тебя, Чижик, за то любить буду...

Вместо ответа, матрос ласково погладил голову мальчика шершавой рукой, улыбаясь при этом необыкновенно мягко и ясно своими глазами из-под нависших взъерошенных бровей.

Такая фамильярность не только не была неприятна Шурке, который слышал от матери, что не следует допускать какой-нибудь короткости с прислугой, но, напротив, еще более расположила его к Федосу.

И он проговорил, понижая голос:

— И знаешь что, Чижик?

— Что, барчук?..

— Я никогда не стану на тебя жаловаться маме...

— Зачем жаловаться?.. Не бойсь, я не забижу ничем маленького барчука... Дитё забижать не годится. Это самый большой грех... Зверь, и тот не забиждает щенят... Ну, а ежели, случаем, промеж нас и выйдет свара какая, — продолжал Федос, добродушно улыбаясь, — мы и сами разберемся, без маменьки... Так-то лучше, барчук... А то что кляузы заводить зря?.. Нехорошее это дело, братец ты мой, кляузы... Самое последнее дело! — прибавил матрос, свято исповедывавший матросские традиции, воспрещающие кляузы.

Шурка согласился, что это нехорошее дело, — он и от Антона и от Анютки это слышал не раз, — и поспешил объяснить, что он даже и на Антона не жаловался, когда тот назвал его «подлым отродьем», чтоб его не отправляли сечь в экипаж...

— И без того его часто посылали... Он маме грубил! И пьяный бывал! — прибавил мальчик конфиденциальным тоном.

— Вот это правильно, барчук... Совсем правильно! — почти нежно проговорил Федос и одобрительно потрепал Шурку по плечу. — Сердце-то детское умудрило пожалеть человека... Положим, этот Антон, прямо сказать, виноват... Разве можно на дите вымещать сердце?.. Дурак он во всей форме! А вы-то дуракову вину оставили безо внимания, даром что глупого возраста... Молодца, барчук!

Шурка был, видимо, польщен одобрением Чижика, хотя оно и шло вразрез с приказанием матери не скрывать от нее ничего.

А Федос осторожно присел на сундук и продолжал:

— Скажи вы тогда маменьке про эти самые Антоновы слова, отодрали бы его, как сидорову козу... Сделайте ваше одолжение!

— А что это значит?.. Какая такая коза, Чижик?..

— Скверная, барчук, коза, — усмехнулся Чижик. — Это так говорится, ежели, значит, очень долго секут матроса... Вроде как до бесчувствия...

— А тебя секли, как сидорову козу, Чижик?..

— Меня-то?.. Случалось прежде... Всяко бывало...

— И очень больно?

— Небось, несладко...

— А за что?..

— За флотскую часть .. вот за что... Особенно не разбирали...

Шурка помолчал и, видимо, желая поделиться с Чижиком кое-чем небезынтересным, наконец проговорил несколько таинственно и серьезно:

— И меня секли, Чижик.

— Ишь ты, бедный... Такого маленького?..

— Мама секла... И тоже было больно...

— За что ж вас-то?..

— Раз за чашку мамину... я ее разбил, а другой раз, Чижик, я мамы не слушал... Только ты, Чижик, никому не говори...

— Не бойся, милой, никому не скажу...

— Папа, тот ни разу не сек.

— И любезное дело... Зачем сечь?

— А вот Петю Голдобина, — знаешь адмирала Голдобина? — так того все только папа его наказывает... И часто...

Федос неодобрительно покачал головой. Недаром и матросы не любили этого Голдобина. Форменная собака!

— А на «Копчике» папа наказывает матросов?

— Без эстого нельзя, барчук.

— И сечет?

— Случается. Однако папенька ваш добер... Его матросы любят...

— Еще бы... Он очень добрый!.. А хорошо теперь погулять бы на дворе, Чижик! — воскликнул мальчик, круто меняя разговор и взглядывая прищуренными глазами в окно, из которого лились снопы света, заливая блеском комнату.

— Что ж, погуляем... Солнышко так и играет. Веселит душу-то.

— Только надо маму спросить...

— Знамо, надо отпроситься... Без начальства и нас не пускают!

— Верно, пустит?

— Надо быть, пустит!

Шурка убежал и, вернувшись через минуту, весело воскликнул:

— Мама пустила! Только велела теплое пальто надеть и потом ей показаться. Одень меня, Чижик!.. Вон пальто висит... Там и шапка и шарф на шею...

— Ну ж и одежи на вас, барчук... Ровно в мороз! — усмехнулся Федос, одевая мальчика...

— И я говорю, что жарко...

— То-то жарко будет...

— Мама не позволяет другого пальто... Уж я просил... Ну, идем к маме!

Марья Ивановна осмотрела Шурку и, обращаясь к Федосу, проговорила:

— Смотри, береги барина... Чтоб не упал да не ушибся!

«Как доглядишь? И что за беда, коли мальчонка упадет?» подумал Федос, совсем не одобрявший барыню за праздные слова, и официально-почтительно ответил:

— Слушаю-с!

— Ну, идите...

Оба довольные, они ушли из спальной, сопровождаемые завистливым взглядом Анютки, няньчившей ребенка.

— Один секунд обождите меня в колидоре, барчук... Я только переобуюсь.

Федос сбегал в комнату за кухней, переобулся в сапоги, взял бушлат и фуражку, и они вышли на большой двор, в глубине которого был сад с зеленеющими почками на оголенных деревьях.

VI

На дворе было славно.

Вешнее солнышко приветливо глядело с голубого неба, по которому двигались перистые белоснежные облачка, и пригревало изрядно. В воздухе, полном бодрящей остроты, пахло свежестью, навозом и, благодаря соседству казарм, кислыми щами и черным хлебом. Вода капала с крыш, блестела в колдобинках и пробивала канавки на обнаженной, испускавшей пар земле с едва пробившейся травкой. Все на дворе словно трепетало жизнью.

У сарая бродили, весело кудахтая, куры, и неугомонный пестрый петух с важным, деловым видом шагал по двору, отыскивая зерен и угощая ими своих подруг. У колдобин гоготали утки. Стайка воробьев то и дело слетала из сада на двор и прыгала, чирикая и ссорясь друг с другом. Голуби разгуливали по крыше сарая, расправляли на солнце сизые перья и ворковали о чем-то. На самом припеке, у водовозной бочки, дремала большая рыжая дворняга и по временам щелкала зубами, ловя блох.

— Прелесть, Чижик! — воскликнул полный радости жизни Шурка и, словно пущенный на волю жеребенок, бросил-

ся со всех ног через двор к сараю, вспугивая воробьев и кур, которые удирали во все лопатки и отчаянным кудахтаньем заставили петуха остановиться и в недоумении поднять ногу.

— То-то хорошо! — промолвил матрос.

И он присел на опрокинутом бочонке у сарая, вынул из кармана маленькую трубчонку и кисет с табаком, набил трубочку, придавил мелкую махорку корявым большим пальцем и, закурив, затянулся с видимым наслаждением, оглядывая весь двор — и кур, и уток, и собаку, и травку, и ручейки — тем проникновенным, любовным взглядом, каким могут только смотреть люди, любящие и природу и животных.

— Осторожней, барчук! . . Не попадите в ямку . . . Ишь, воды-то . . . Утке и лестно . . .

Шурке скоро надоело бегать, и он присел к Федосу. Мальчика словно тянуло к нему.

Они почти целый день пробыли на дворе, — только ходили завтракать да обедать в дом, и в эти часы Федос обнаружил такое обилие знаний, умел так все объяснить и насчет кур, и насчет уток, и насчет барашков на небе, что Шурка решительно пришел в восторженное удивление и проникся каким-то благоговейным уважением к такому богатству сведений своего пестуна и только удивлялся, откуда это Чижик все знает.

Словно бы целый новый мир открывался мальчику на этом дворе, и он впервые обратил внимание на все, что на нем было и что оказывалось столь интересным. И он в восторге слушал Чижика, который, рассказывая про животных или про травку, казалось, сам был животным, и травой — до того он, так сказать, весь проникался их жизнью . . .

Повод к такому разговору подала шалость Шурки. Он запустил камнем в утку и подшиб ее . . . Та с громким гоготом отскочила в сторону . . .

— Неправильно это, Лександра Васильич! — проговорил Федос, покачивая головой и хмуря нависшие свои брови. — Не-хо-ро-шо, братец ты мой! — протянул он с ласковым укором в голосе.

Шурка вспыхнул и не знал, обидеться ему или нет, и, сделав вид, что не слышит замечания Федоса, с искусственно-беззаботным видом стал ссыпать ногой землю в канавку.

— За что безответную птицу обидели?.. Вон она, бедная, хромлет и думает: «За что меня мальчик зря зашиб?..» И она пошла к своему селезню жаловаться.

Шурке было неловко: он понимал, что поступил нехорошо, — и в то же время его заинтересовало, что Чижик говорит, будто утки думают и могут жаловаться.

И он, как все самолюбивые дети, не любящие сознаваться пред другими в своей вине, подошел к матросу и, не отвечая по существу, заносчиво проговорил:

— Какую ты дичь несешь, Чижик! Разве утки могут думать и еще жаловаться?

— А вы полагаете как?.. Небось, всякая тварь понимает и свою думу думает... И промеж себя разговаривает по-своему... Гляди-ко-сь, как воробушек-то зачиликал? — указал Федос тихим движением головы на воробья, слетевшего из сада. — Ты думаешь, он спроста, шельмец: «чилик да чилик!» Вовсе нет! Он, братец ты мой, отыскал корму и сзывает товарищей. «Летите, мол, братцы, кантовать вместе! Вали-валом, ребята!» Тоже воробей, а, небось, понимает, что одному есть харч негодится... Я, мол, ем, и ты ешь, а не то что потихоньку от других...

Шурка присел рядом на бочонке, видимо, заинтересованный.

А матрос продолжал:

— Вот хоть бы взять собаку... Лайку эту самую... Нешто она не понимает, как сегодня в обед Иван ее кипятком ошпарил от своего озорства?.. Тоже нашел над кем куражиться! Над собакой, лодырь бесстыжий! — с сердцем говорил Федос. — Небось, теперь эта самая Лайка к кухне не подойдет... И подальше от кухни-то... Знает, как там ее встретят... К нам вот не боится!

И с этими словами Федос подозвал лохматую, далеко не казистую собаку с умной мордой и, погладив ее, проговорил:

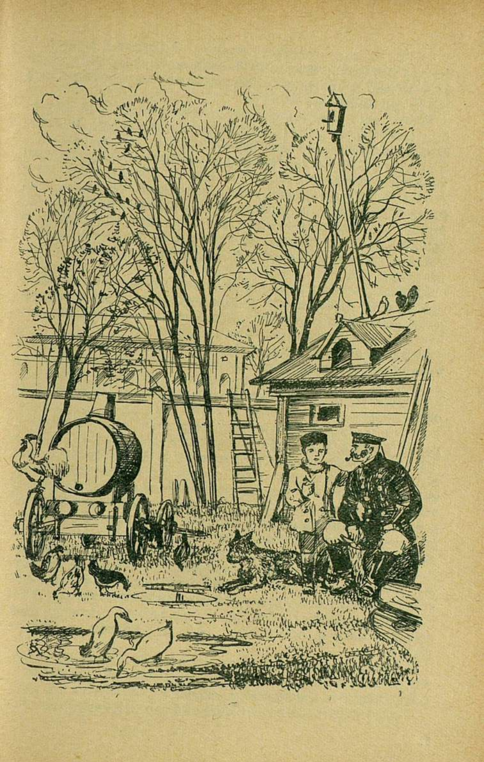
— Что, брат, попало от дурака-то?.. Покажи-ка спину!..

Лайка лизнула руку матроса.

Матрос осторожно осмотрел ее спину.

— Ну, Лаечка, не очень-то тебя ошпарили... Ты больше от досады, значит, визжала... Не бойся... Уж теперь я тебя в обиду не дам...

Собака опять лизнула руку и весело замахала хвостом.



— Вон и она чувствует ласку... Смотрите, барчук... Да что собака... Всякая насекомая, и та понимает, да сказать только не может... Травка, и та словно пискнет, как ты ее придавишь...

Много еще говорил словоохотливый Федос, и Шурка был совсем очарован. Но воспоминание об утке смущало его, и он беспокойно проговорил:

— А не пойдем ли, Чижик, посмотреть утку... Не сломана ли у нее нога?

— Нет, видно, ничего... Вон она переваливается... Небось, без фершела поправилась? — засмеялся Федос и, понявши, что мальчику стыдно, погладил его по голове и прибавил: — Она, братец ты мой, уж не сердится... Простила... А завтра мы ей хлеба принесем, если нас гулять пустят...

Шурка уже был влюблен в Федоса. И нередко потом, в дни своего отрочества и юношества, имея дело с педагогами, вспоминал о своем денщике-няньке и находил, что никто из них не мог сравниться с Чижиком.

В девятом часу вечера Федос уложил Шурку спать и стал рассказывать ему сказку. Но сонный мальчик не дослушал ее и, засыпая, проговорил:

— А я не буду обижать уток... Прощай, Чижик!.. Я тебя люблю.

В тот же вечер Федос стал устраивать себе уголок в комнате рядом с кухней.

Снявши с себя платье и оставшись в исподних и в ситцевой рубахе, он открыл свой сундучок, внутренняя доска которого была оклеена разными лубочными картинками и этикетами с помадных банок, — тогда олеографий и иллюстрированных изданий еще не было, — и первым делом достал из сундука маленький потемневший образок Николая Чудотворца и, перекрестившись, повесил к изголовью. Затем повесил зеркальце и полотенце и, положив на козлы, заменявшие кровать, свой блинчатый тюфячок, постлал его простыней и накрыл ситцевым одеялом.

Когда все было готово, он удовлетворенно оглядел свой новый уголок и, разувшись, сел на кровать и закурил трубку.

В кухне еще возился Иван, только что убравший самовар.

Он заглянул в комнатку и спросил:

— А ужинать разве не будете, Федос Никитич?

— Нет, не хочу...

— И Анютка не хочет... Видно, придется одному ужинать... А то чаю не угодно ли? У меня сахар завсегда водится! — проговорил, как-то плутовато подмигивая глазом, Иван.

— Спасибо на чае... Не стану...

— Что ж, как угодно! — как будто обижаясь, сказал Иван, уходя.

Не нравился ему новый сожитель, очень не нравился. В свою очередь и Иван не пришелся по вкусу Федосу. Федос не любил вообще «вестовщину» и денщиков, а этого плутоватого и нахального повара в особенности. Особенно ему не понравились разные двусмысленные шуточки, которые он отпускал за обедом Анютке, и Федос сидел молча и только сурово хмурил брови. Иван тотчас же понял, отчего «матрозня» сердится, и примолк, стараясь поразить его своим «высшим обращением» и хвастливыми разговорами о том, как им довольны и как его ценят и барыня и барин.

Но Федос отмалчивался и решил про себя, что Иван совсем «пустой человек». А за Лайку назвал его таки прямо «бессовестным» и прибавил:

— Тебя бы так ошпарить. А еще считаешься матросом!

Иван отшутился, но затаил в своем сердце злобу на Федоса, тем более, что его осрамили при Анютке, которая, видимо, сочувствовала словам Федоса.

— Однако и спать ложиться! — проговорил вслух Федос, докурив трубку.

Он встал, торжественно-громко произнес «Отче наш» и, перекрестившись, лег в постель. Но заснуть еще долго не мог, и в голове его бродили мысли о прошлой пятнадцатилетней службе и о новом своем положении.

«Мальчонка добрый, а как с этими уживусь — с «белобрысой» да с «лодырем»?» задавал он себе вопрос. В конце концов он решил, что как бог даст, и наконец заснул, вполне успокоенный этим решением.

VII

Федос Чижик, как и большая часть матросов того времени, когда крепостное право еще доживало свои последние годы и во флоте, как везде, царила беспощадная су-

ровость и даже жестокость в обращении с простыми людьми, — был, разумеется, большим философом-фаталистом.

Все благополучие своей жизни, преимущественно заключавшееся в охранении своего тела от побоев и линьков, а лица от серьезных повреждений, — за легкими он не гнался и считал их относительным благополучием, — Федос основывал не на одном только добросовестном исполнении своего трудного матросского дела и на хорошем поведении согласно предъявляемым требованиям, а главнейшим образом на том, «как бог даст».

Эта не лишенная некоторой трогательности и присущая лишь русским простолюдинам исключительная надежда на одного только господа бога разрешала все вопросы и сомнения Федоса относительно его настоящей и будущей судьбы и служила едва ли не единственной поддержкой, чтобы, как выражался Чижик, «не впасть в отчаянность и не попробовать арестантских рот».

И, благодаря такой надежде, он оставался все тем же исправным матросом и стоиком, отводящим свою возмущенную людскою неправдой душу лишь крепкою бранью и тогда, когда даже воистину христианское терпение русского матроса подвергалось жестокому испытанию.

С тех пор как Федос Чижик, оторванный от сохи, был сдан благодаря капризу старухи-помещицы в рекруты и, никогда не видавший моря, попал, единственно из-за своего малого роста, во флот, — жизнь Федоса представляла собою довольно пеструю картину переходов от благополучия к неблагополучию, от неблагополучия к той, едва даже понятной теперь, невыносимой жизни, которую матросы характерно называли «каторгой», и обратно — от «каторги» к благополучию.

Если, «давал бог», командир, старший офицер и вахтенные начальники попадались по тем суровым временам не особенно бешеные и дрались и пороли, как выражался Федос, «не зря и с рассудком», то и Федос, как один из лучших марсовых, чувствовал себя спокойным и довольным, не боялся сюрпризов в виде линьков, и природное его добродушие и некоторый юмор делали его одним из самых веселых рассказчиков на баке.

Если же «бог давал» командира или старшего офицера, что называется на матросском жаргоне, «форменного арестанта», который за опоздание на несколько секунд при

постановке или при уборке парусов приказывал «спустить шкуры» всем марсовым, то Федос терял веселость, делался угрюм и после того, как его драли, как сидорову козу, случалось, нередко загуливал на берегу. Однако все-таки находил возможным утешать падавших духом молодых матросов и с какою-то странною уверенностью для человека, спина которого сплошь покрыта синими рубцами с кровавыми подтеками, говорил:

— Бог даст, братцы, нашего арестанта переведут куда... Заместо его не такой дьявол поступит... Отдышимся. Не все же терпеть-то!

И матросы верили, — им так хотелось верить, — что, «бог даст», уберут куда-нибудь «арестанта».

И терпеть, казалось, было легче.

Федос Чижик пользовался большим авторитетом и в своей роте, и на судах, на которых плавал, как человек «правильный», вдобавок «с умом» и лихой марсовой, не раз доказавший и знание дела, и отвагу. Его уважали и любили за его честность, добрый характер и скромность. Особенно расположены к нему были молодые, безответные матросики. Федос таких всегда брал под свою защиту, оберегая их от боцманов и унтер-офицеров, когда они слишком куражились и зверствовали.

Достойно замечания, что в деле исправления таких боцманов Федос несколько отступал от своего фатализма, возлагая надежды не на одно только «как бог даст», но и на силу человеческого воздействия, и даже главным образом на последнее.

По крайней мере, когда увещательное слово Федоса, сказанное с глазу на глаз какому-нибудь неумеренному «мордобою»-боцману, слово, полное убедительной страстности «пожалеть людей», не производило надлежащего впечатления и боцман продолжал попрежнему драться «безо всякого рассудка», — Федос обыкновенно прибегал к предостережению и говорил:

— Ой, не зазнавайся, боцман, что вошь в коросте! Бог гордых не любит. Смотри, как бы тебя, братец ты мой, не проучили... Сам, небось, знаешь, как вашего брата проучивают!

Если к такому предостережению боцман оставался глух, Федос покачивал раздумчиво головой и строго хмурил брови, видимо, принимая какое-то решение.

Несмотря на свою доброту, он, однако, во имя долга и

охранения неписаного, обычного матросского права, собирал несколько достойных доверия матросов на тайное совещание о поступках боцмана-зверя, и на этом матросском суде Линча обыкновенно постановлялось решение: «проучить боцмана», что и приводилось в исполнение при первом же съезде на берег.

Боцмана избивали где-нибудь в переулке Кронштадта или Ревеля до полусмерти и доставляли на корабль. Обыкновенно боцман того времени и не думал жаловаться на виновников, объяснял начальству, что в пьяном виде имел дело с матросами с иностранных купеческих кораблей, и после такой серьезной «выучки» уже дрался с «большим рассудком», продолжая, конечно, ругаться с прежним мастерством, за что, впрочем, никто не был в претензии.

И Федос в таких случаях нередко говорил с обычным добродушием:

— Как выучили, так и человеком стал. Боцман как боцман...

Сам Федос не желал быть «начальством» — совсем это не подходило к его характеру, — и он решительно просил не производить его в унтер-офицеры, когда один из старших офицеров, с которым он служил, хотел представить Федоса.

— Будьте милостивы, ваше благородие, ослобоните от такой должности! — взмолился Федос.

Изумленный старший офицер спросил:

— Это почему?

— Не привержен я быть унтерцером, ваше благородие. Вовсе не по мне это звание, ваше благородие... Явите божескую милость, дозвольте остаться в матросах! — докладывал Федос, не объясняя, однако, мотивов своего нежелания.

— Ну, если не хочешь, как знаешь... А я думал тебя наградить...

— Рад стараться, ваше благородие! Премного благодарен, ваше благородие, что дозволили остаться матросом...

— И оставайся, коли ты такой дурак! — проговорил старший офицер.

А Федос ушел из каюты старшего офицера радостный и довольный, что избавился от должности, в которой приходилось «собачиться» со своим же братом-матросом и нахо-

диться в более непосредственных отношениях с господами офицерами.

«Ну их... От греха лучше подальше!»

Всего бывало в течение долгой службы Федоса. И пороли и били его, и похваливали и отличали. Последние три года службы его на «Копчике», под начальством Василия Михайловича Лузгина, были самыми благополучными годами. Лузгин и старший офицер были люди добрые по тем временам, и на «Копчике» матросам жилось относительно хорошо. Не было ежедневных порок, не было вечного трепета. Не было бессмысленной флотской муштры.

Василий Михайлович знал Федоса как отличного фор-марсового и, выбрав его загребным на свой вельбот, еще лучше познакомился с матросом, оценив его добросовестность и аккуратность.

И Федос думал, что, «бог даст», он прослужит еще три года с Васильем Михайловичем тихо и спокойно, как у Христа за пазухой, а там его уволят в «бессрочную» до окончания положенного двадцатипятилетнего срока службы, и он пойдет в свою дальнюю симбирскую деревушку, с которой не порывал связей и раз в год просил какого-нибудь грамотного матроса писать к своему «дражайшему родителю» письмо, обыкновенно состоящее из добрых пожеланий и поклонов всем родным.

Матрос, не во-время отдавший внизу марса-фал, которым оторвало Федосу, бывшему на марсе, два пальца, был невольным виновником в перемене судьбы Чижика.

Матроса жестоко отодрали, а Чижика немедленно отправили в Кронштадтский госпиталь, где ему вылущили оба пальца. Он выдержал операцию, даже не охнув. Только стиснул зубы, и по его побледневшему от боли лицу катились крупные капли пота. Через месяц уж он был в экипаже.

По случаю потери двух пальцев он надеялся, что, «бог даст», его назначат в «неспособные» и уволят в бессрочный отпуск. По крайней мере так говорил ротный писарь и советовал через кого-нибудь «исхлопотать». Таких примеров бывало!

Но исхлопотать за Федоса было некому, а сам он не решался беспокоить ротного командира. Как бы еще не попало за это.

Таким образом Чижик остался на службе и попал в няньки.

Прошел месяц с тех пор, как Федос поступил к Лузгиным.

Нечего и говорить, что Шурка был без ума от своей няньки, находился вполне под его влиянием и, слушая его рассказы о штормах и ураганах, которые доводилось испытать Чижику, о матросах и об их жизни, о том, как черные люди арапы почти голые ходят на далеких островах за Индейским океаном, слушая про густые леса, про диковинные фрукты, про обезьян, про крокодилов и акул, про чудное высокое небо и горячее солнышко, — Шурка сам непременно хотел быть моряком, а пока старался во всем подражать Чижику, который в то время был его идеалом.

С чисто детским эгоизмом он не отпускал от себя Чижика, чтоб быть всегда вместе, забывая даже и мать, которая, со времени появления Чижика, как-то отошла на второй план.

Еще бы! Она не умела так занятно рассказывать, не умела делать таких славных бумажных змеев, волчков и лодок, которые делал Чижик. И, ко всему этому, он с Чижиком не чувствовал над собою придирчивой няньки. Они были больше приятелями и, казалось, жили одними интересами и часто, не сговариваясь, выражали одни и те же мнения.

Эта близость с денщиком-матросом несколько пугала Марью Ивановну, а некоторая отчужденность от матери, которую она, конечно, заметила, даже заставила ее ревновать Шурку к няньке. Кроме того, Марье Ивановне, как бывшей институтке и строгой ревнительнице манер, казалось, будто Шурка при Чижике немного огрубел и манеры его стали угловатее.

Тем не менее Марья Ивановна не могла не сознаться, что Чижик добросовестно исполняет свои обязанности и что при нем Шурка значительно поздоровел, не капризничает и не нервничает, как бывало прежде, и она совершенно спокойно уходила из дома, зная, что может вполне положиться на Чижика.

Но, несмотря на такое признание заслуг Чижика, он все-таки был несимпатичен молодой женщине. Она терпела Федоса только ради ребенка и обращалась с ним с высокомерною холодностью и почти нескрываемым презрением ба-

рыни к мужлану-матросу. Главное, что возмущало ее в денщике, это — недостаток в нем той почтительной угодливости, которую она любила в прислуге и которою особенно отличался ее любимец Иван. А в Федосе — никакой приветливости. Всегда несколько хмурый при ней, с служебным лаконизмом подчиненного отвечающий на ее вопросы, всегда отмалчивающийся на ее замечания, которые, по мнению Чижика, «белобрысая» делала зря, — он далеко не отвечал требованиям Марьи Ивановны, и она чувствовала, что этот матрос втайне далеко не признает ее авторитета и совсем не чувствует признательности за все те благодеяния, которые, казалось барыне, он получил, попав к ним в дом из казармы. Это возмущало барыню.

Чувствовал это отношение к себе «белобрысой» и Чижик и сам, в свою очередь, недолюбливал ее, и главным образом за то, что она совсем уж утесняла бедную, безответную Анютку, шпыняя ее за всякую малость, сбивая с толку окриками и нередко давая ей пощечины, и не то что с пыла, а прямо-таки от злого сердца, этак хладнокровно и еще с улыбочкой.

«Эка злющая ведьма!» не раз думал про себя Федос, насупливая брови и становясь мрачным, когда бывал свидетелем, как «белобрысая», не спеша, устремив большие серые и злые глаза на замершую в страхе Анютку, хлещет своею белою, пухлою рукой в кольцах по худеньким, бледным щекам девушки.

И он жалел Анютку, быть может, даже более чем жалел, — эту миловидную, загнанную девушку с испуганным взглядом синих глаз, и, случалось, когда барыни не было дома, ласково ей говорил:

— А ты не робей, Аннушка... Бог даст, недолго терпеть... Слышно, скоро волю всем объявят. Потерпи, а там уйдешь, куда захочешь, от своей ведьмы. Бог-то умудрил царя!

Эти участливые слова бодрили Анютку и наполняли ее сердце благодарным чувством к Чижику. Она понимала, что он ее жалеет, и видела, что только благодаря Чижику противный Иван не так нахально, как прежде, преследует ее своими любезностями.

Зато Иван ненавидел Федоса со всею силой своей мелкой душонки и вдобавок ревновал его, приписывая отчасти Чижику полное невнимание Анютки к его особе, которую он считал довольно-таки привлекательною.

Ненависть эта еще более усилилась после того, как Федос однажды застал на кухне Анютку, отбивавшуюся от объятий повара.

При появлении Федоса Иван тотчас же оставил девушку и, приняв беспечно-развязный вид, проговорил:

— Шутю с дурой, а она сердится...

Федос стал мрачнее черной тучи.

Не говоря ни слова, подошел он вплотную к Ивану и, поднося к его побледневшему, испуганному лицу свой здоровенный волосатый кулак, едва сдерживаясь от негодования, произнес:

— Видишь?

Струсивший Иван зажмурил от страха глаза при столь близком соседстве такого громадного кулака.

— Тесто из подлой твоей хайлы сделаю, ежели ты еще раз тронешь девушку, подлец этакой!

— Я, право, ничего... Я только так... Пошутил, значит...

— Я тебе... пошутю... Нешто можно обижать так человека, бесстыжий ты кобель?

И, обращаясь к Анютке, благодарной и взволнованной, продолжал:

— Ты мне, Аннушка, только скажи, если он пристанет... Рыжая его морда будет на стороне... Это верно!

С этими словами он вышел из кухни.

В тот же вечер Анютка шепнула Федосу:

— Ну, теперь этот подлый человек будет еще больше наушничать на вас барыне... Уж он наушничал... Я слышала из-за дверей третьего дня... говорит: вы, мол, всю кухню провоняли махоркой...

— Пусть себе кляузничает! — презрительно бросил Федос. — Мне и трубки, что ли, не покурить? — прибавил он, усмехаясь.

— Барыня страсть не любит простого табаку...

— А пусть себе не любит! Я не в комнатах курю, а в своем, значит, помещении... Тоже матросу без трубки нельзя.

После этого происшествия Иван во что бы то ни стало хотел сжить ненавистного ему Федоса и, понимая, что барыня недолюбливает Чижика, стал при всяком удобном случае нашептывать барыне на Федоса.

Он, дескать, и с маленьким барином совсем вольно обращается, не так, как слуга, он и барыниной доброты не чув-

ствует, он и с Анюткой что-то шепчется часто... Стыдно даже.

Все это говорилось намеками, предположениями, сопровождаемое уверениями в своей преданности барыне.

Молодая женщина все это слушала и стала с Чижиком еще суровее и придирчивее. Она зорко наблюдала за ним и за Анюткой, часто входила невзначай будто в детскую, выспрашивала у Шурки, о чем с ним говорит Чижик, но никаких сколько-нибудь серьезных улик преступности Федоса найти не могла, и это еще более злило молодую женщину, тем более, что Федос, как будто и не замечая, что барыня на него гневается, нисколько не изменял своих служебно-официальных отношений.

«Бог даст, белобрысая уходится», думал Федос, когда невольная тревога подчас закрадывалась в его сердце при виде ее недовольного, строгого лица.

Но «белобрысая» не переставала придираться к Чижику, и вскоре над ним разразилась гроза.

IX

В одну субботу, когда Федос, только что вернувшийся из бани, пошел укладывать мальчика, Шурка, всегда делившийся впечатлениями со своим любимцем-пестуном и сообщавший ему все домашние новости, тотчас же промолвил:

— Знаешь, что я скажу тебе, Чижик?..

— Скажи, так узнаю, — проговорил, усмехнувшись, Федос.

— Мы завтра едем в Петербург.. к бабушке. Ты не знаешь бабушки?

— То-то не знаю.

— Она добрая-предобрая, вроде тебя, Чижик... Она — папина мать... С первым пароходом едем...

— Что ж, дело хорошее, братец ты мой. И добрую бабку свою повидаешь, и на «праходе» прокатишься... Вроде бытто на море побываешь...

Наедине Федос почти всегда говорил Шурке «ты». И это очень нравилось мальчику и вполне соответствовало их дружеским отношениям и взаимной привязанности. Но в присутствии Марьи Ивановны Чижик не позволял себе та-

кой фамильярности: и Федос, и Шурка понимали, что при матери нельзя было показывать интимной их короткости.

«Небось, прицепится, — рассуждал Федос: — дескать, барское дитё, а матрос его тыкает. Известно, «фанаберистая» барыня!»

— Ты, Чижик, разбуди меня пораньше. И новую курточку приготовь и новые сапоги...

— Все изготовлю, будь спокоен... Сапоги отполирую в лучшем виде... Одно слово, в полном парате тебя отпущу... Таким будешь молодцом, что наше вам почтение! — весело и любовно говорил Чижик, раздевая Шурку. — Ну, теперь помолись-ка богу, Лександра Васильич.

Шурка прочитал молитву и юркнул под одеяло.

— А будить тебя рано не стану, — продолжал Чижик, присаживаясь около Шуркиной кровати: — в половине восьмого побужу, а то, не выспамшись, нехорошо...

— И маленькая Адя едет, и Анютка едет, а тебя, Чижик, мама не берет. Уж я просил маму, чтобы и тебя взяли с нами, так не хочет...

— Зачем меня брать-то? Лишний расход.

— С тобою было бы веселее.

— Небось, и без меня не заскучишь... День-то не беда тебе без Чижика побыть... А я и сам попрошусь со двора. Тоже и мне в охотку погулять... Ты как полагаешь?

— Иди, иди, Чижик! Мама, верно, пустит...

— То-то надо бы пустить... Во весь месяц ни разу не ходил со двора...

— А ты куда же пойдешь, Чижик?

— Куда пойду? А сперва в церкву пойду, а потом к куме-боцманше заверну... Ейный муж мне старинный приятель... Вместе в дальнюю ходили... У них посижу... Покалякаем... А потом на пристань схожу, матросиков погляжу... Вот и гулянка!.. Однако спи, Христос с тобой!

— Прощай, Чижик! А я тебе гостинца от бабушки привезу... Она всегда дает...

— Кушай сам на здоровье, голубок!.. А коли не пожалеешь, лучше Анютке дай... Ей лестнее.

— И ей дам... и тебе! — сонным голосом пролепетал Шурка.

Шурка всегда угощал своего пестуна лакомствами, нередко нашивал ему и куски сахару. Но от них Чижик отказывался и просил Шурку не брать «господского припаса», чтобы не вышло какой кляузы.

И теперь, тронутый вниманием мальчика, он проговорил с нежностью, на какую только был способен его грубоватый голос:

— Спасибо тебе за ласку, милый... Спасибо... Сердчишко у тебя, у мальца, доброе...И рассудлив по своему глупому возрасту... и прост... Бог даст, как вырастешь, и вовсе будешь форменным человеком... правильным... Никого не забидишь... И бог за то тебя любить будет... Так-то, брат, лучше... Никак уж и уснул?

Ответа не было. Шурка уже спал.

Чижик перекрестил мальчика и тихо вышел из комнаты. На душе у него было светло и покойно, как и у этого ребенка, к которому старый, не знавший ласки матрос привязался со всею силою своего любящего сердца.

X

На следующее утро, когда Лузгина, в нарядном шелковом голубом платье, с взбитыми начесами светло-русых волос, свежая, румяная, пышная и благоухающая, с браслетами и кольцами на белых пухлых руках, торопливо пила кофе, боясь опоздать на пароход, Федос приблизился к ней и сказал:

— Дозвольте, барыня, отлучиться со двора сегодня.

Молодая женщина подняла на матроса глаза и недовольно спросила:

— А тебе зачем итти со двора?

В первое мгновение Федос не знал, что и ответить на такой «вовсе глупый», по его мнению, вопрос.

— К знакомым, значит, сходить, — отвечал он после паузы.

— А какие у тебя знакомые?

— Известно, матросского звания...

— Можешь итти, — проговорила после минутного раздумья барыня. — Только помни, чтó я тебе говорила... Не вернись от своих знакомых пьяным! — строго прибавила она.

— Зачем пьяным? Я в своем виде вернусь, барыня!

— Без своих дурацких объяснений! К семи часам быть дома! — резко заметила молодая женщина.

— Слушаю-с, барыня! — с официальной почтительностью ответил Федос.

Шурка удивленно посмотрел на мать. Он решительно недоумевал, за что мама сердится и вообще не любит такого прелестного человека, как Чижик, и, напротив, никогда не бранит противного Ивана. Иван и Шурке не нравился, несмотря на его льстивое и заискивающее обращение с молодым барчуком.

Проводив господ и обменявшись с Шуркой прощальными приветствиями, Федос достал из глубины своего сундучка тряпицу, в которой хранился его капитал — несколько рублей, скопленных им за шитье сапог. Чижик недурно шил сапоги и умел даже шить с фасоном, вследствие чего, случалось, получал заказы от писарей, подшкиперов и баталеров.

Осмотрев свои капиталы, Федос вынул из тряпки одну засаленную рублевую бумажку, спрятал ее в карман штанов, рассчитывая из этих денег купить себе восьмушку чаю, фунт сахару и запас махорки, а остальные деньги, бережно уложив в тряпочку, снова запрятал в уголок сундука и запер сундук на ключ.

Поправив огонек в лампадке перед образком у изголовья, Федос расчесал свои черные, как смоль, баки и усы, обулся в новые сапоги и, облачившись в форменную матросскую серую шинель с ярко горевшими медными пуговицами и надевши чуть-чуть набок фуражку, веселый и довольный вышел из кухни.

— Обедать нешто дома не будете? — кинул ему вдогонку Иван.

— То-то не буду!..

«Экая необразованная матрозня! Как есть «чучила», мысленно напутствовал Федоса Иван.

И сам он, франтовато одетый в серый пиджак, в белой манишке, воротник которой был повязан необыкновенно ярким галстуком, с бронзовой цепочкой на жилете, глядя в окно на проходившего Чижика, презрительно оттопырил толстые свои губы, покачал кудластой головой с рыжими волосами, обильно умащенными коровьим маслом, и в маленьких его глазках сверкнул огонек.

XI

Федос первым делом направился в Андреевский собор и как раз попал к началу службы.

Купив копеечную свечку и пробравшись вперед, он по-

ставил свечку у образа Николы-угодника и, вернувшись, стал совсем позади, в толпе бедного люда. Всю обедню он выстоял серьезный и сосредоточенный, стараясь направить мысли на божественное, и усердно и истово осенял себя широким, размашистым крестным знамением. При чтении евангелия он умилился, хотя и не все понимал, что читали. Умилялся и при стройном пении певчих и вообще находился в приподнятом настроении человека, отрешившегося от всяких житейских дрязг.

И, слушая пение, слушая слова любви и милосердия, произносимые мягким тенорком священника, Федос уносился куда-то в особый мир, и ему казалось, что там, «на том свете», будет необыкновенно хорошо и ему и всем матросам, куда лучше, чем было на грешной земле...

Нравственно удовлетворенный и как бы внутренне сияющий, вышел Федос по окончании службы из церкви и на паперти, где толпились по обе стороны и по бокам ступеней лестницы нищие, оделил по грошику десять человек, подавая преимущественно мужчинам и старикам.

Все еще занятый разными, как он называл, «божественными» мыслями насчет того, что господь все видит и если попускает на свете неправду, то более всего для испытания человека, готовя потерпевшему на земле самую лучшую будущую жизнь, которой, разумеется, не видать, как ушей своих, форменным «арестантам» из капитанов и офицеров, — Чижик ходко шагал в один из дальних переулков, где в маленьком деревянном домишке нанимал комнату отставной боцман Флегонт Нилыч и его жена Авдотья Петровна, имевшая на рынке ларек со всякою мелочью.

Низенький и худощавый старик Нилыч, бодрый еще на вид, несмотря на свои шестьдесят с лишком лет, сидел за накрытым цветною скатертью столом в чистой ситцевой рубахе, широких штанах и в башмаках, надетых на босые ноги, и слегка вздрагивающею, костлявою рукою с предусмотрительной осторожностью наливал из полуштофа в стаканчик водку.

И в выражении его морщинистого, отливавшего старческим румянцем лица с крючковатым носом и большой бородавкой на выбритой по случаю воскресенья щеке и маленьких, все еще живых глаз было столько сосредоточенного благоговейного внимания, что Нилыч и не заметил, как в двери вошел Федос.

И Федос, словно бы понимая всю важность этого священнодействия, дал знать о своем присутствии только тогда, когда стаканчик был налит до краев и Нилыч его выцедил с видимым наслаждением.

— Флегонту Нилычу — нижайшее! С праздником!

— А, Федос Никитич! — весело воскликнул Нилыч, как звали его все знакомые, пожимая Федосу руку. — Садись, братец, сейчас шти Авдотья Петровна принесет...

И, наливая вновь стаканчик, поднес его Федосу.

— Я, брат, уж колупнул.

— Будь здоров, Нилыч! — проговорил Чижик и, медленно выпив рюмку, крякнул.

— И где это ты пропадал?.. Уж я в казармы хотел итти... Думаю: совсем забыл нас... А еще кум...

— В денщики попал, Нилыч...

— В денщики? .. К кому?..

— К Лузгину, капитану второго ранга... Может, слыхал?

— Слыхал... Ничего себе... Ну-ко-сь!.. вторительно?..

И Нилыч снова налил стаканчик.

— Будь здоров, Нилыч!..

— Будь здоров, Федос! — проговорил и Нилыч, выпивая в свою очередь.

— С им-то ничего жить, только жонка его, я тебе скажу...

— Зудливая нешто?

— Как есть заноза, и злющая. Ну, и о себе много полагает. Думает, что белая да ядреная, так уж лучше и нет...

— Ты у них по какой же части?

— В няньках при барчуке. Мальчонка славный, душевный мальчонка... Кабы не заноза эта самая, легко было бы жить... А она всем в доме командует...

— А сам?

— То-то он у ней вроде бытто подвахтенного. Перед ей и не пикнет, а, кажется, с рассудком человек... Совсем в покорности.

— Это бывает, братец ты мой! Бы-вает! — протянул Нилыч.

Сам он, когда-то лихой боцман и «человек с рассудком», тоже находился под командой своей жены, хотя при посторонних и хорохорился, стараясь показать, что он ее нисколько не боится.

— Дайся только бабе в руки, она тебе покажет кузькину

маменьку. Известно, в бабе настоящего рассудка нет, а только одна брехня, — продолжал Нилыч, понижая голос и в то же время опасливо посматривая на двери. — Бабу надо держать в струне, чтобы понимала начальство. Да что это моя-то копается? Рази пойти ее шугануть!..

Но в эту минуту отворилась дверь, и в комнату вошла Авдотья Петровна, здоровая, толстая и высокая женщина лет пятидесяти с очень энергичным лицом, сохранившим еще остатки былой пригожести. Достаточно было взглянуть на эту внушительную особу, чтобы оставить всякую мысль о том, что низенький и сухонький Нилыч, казавшийся перед женой совсем маленьким, мог ее «шугануть». В засученных красных ее руках был завернутый в тряпки горшок со щами. Сама она так и пылала.

— А я думала: с кем это Нилыч стрекочет?.. А это Федос Никитич!... Здравствуйте, Федос Никитич... И то забыли! — говорила густым, низким голосом боцманша.

И, поставивши горшок на стол, протянула куму руку и бросила Нилычу:

— Поднес гостю-то?

— А как же? Небось, тебя не дожидались!

Авдотья Петровна повела взглядом на Нилыча, точно дивясь его прыти, и разлила по тарелкам щи, от которых шел пар и вкусно пахло. Затем достала из шкафчика с посудой еще два стаканчика и наполнила все три.

— Что правильно, то правильно! Петровна, братец ты мой, рассудливая женщина! — заметил Нилыч не без льстивой нотки, умильно глядя на водку.

— Милости просим, Федос Никитич, — предложила боцманша.

Чижик не отказался.

— Будьте здоровы, Авдотья Петровна! Будь здоров, Нилыч!

— Будьте здоровы, Федос Никитич.

— Будь здоров, Федос!

Все трое выпили, и у всех были серьезные и несколько торжественные лица. Перекрестившись, начали хлебать в молчании щи. Только по временам раздавался низкий голос Авдотьи Петровны:

— Милости просим!

После щей полуштоф был пуст.

Боцманша пошла за жареным и, возвратившись, вместе с куском мяса поставила на стол еще полуштоф.

Нилыч, видимо, подавленный таким благородством жены, воскликнул:

— Да, Федос... Петровна, одно слово...

К концу обеда разговор сделался оживленнее. Нилыч уже заплетал языком и размяк. Чижик и боцманша, оба красные, были клюнувши, но нисколько не теряли своего достоинства.

Федос рассказывал о «белобрысой», о том, как она утесняет Анютку и какой у них подлый денщик Иван, и философствовал насчет того, что бог все видит и наверное быть Лузгинихе в аду, коли она не одумается и не вспомнит бога.

— Как вы полагаете, Авдотья Петровна?

— Другого места ей не будет, сволочи! — энергично отрезала боцманша. — Мне знакомая прачка тоже сказывала, какая она уксусная сука...

— Небось, там, в пекле, значит, ее отполируют в лучшем виде... От-по-ли-ру-ют! Сделайте одолжение! Не хуже, чем на флоте! — вставил Нилыч, имевший, повидимому, об аде представление как о месте, где будут так же отчаянно пороть, как и на кораблях. — А повару раскровяни морду. Не станет он тогда кляузничать.

— И раскровяню, ежели нужно будет... Совсем оголтелый пес. Добром не выучишь! — проговорил Чижик и вспомнил об Анютке.

Петровна стала жаловаться на дела. Совсем нынче подлые торговки стали, особенно из молодых. Так и норовят из-под носа отбить покупателя.

— А мужчинское известное дело. Матрос да солдат к молодым торговкам лезет, как окунь на червя. Купит на две копейки, а сам, бесстыдник, норовит уколупнуть бабу на рубь... А другая подлющая баба и рада... Так зенками и вертит...

И, словно припомнив какую-то неприятность, Петровна приняла несколько воинственный вид, подперев бок своею здоровенною рукой, и воскликнула:

— А я терплю-терплю, а глаза черномазой Глашке выцарапаю! Знаете Глашку-то?.. — обратилась боцманша к Чижику. — Вашего экипажа матроска... Марсового Ковшикова жена?..

— Знаю... За что же вы, Авдотья Петровна, хотите Глашку проучить?

— А за то самое, что она подлая! Вот за что... У меня

покупателев неправильно отбивает... Вчера подошел ко мне антиллерист... Человек уж в возрасте в таком, что старому дьяволу нечего разбирать бабьи подлости... Ему на том свете уж и паек готов... Ну, подошел к ларьку, так по правилам, значит, уж мой покупатель, и всякая честная торговка должна перестать драть глотку на зазыв... А Глашка, заместо того, мерзавка, грудь пятит, чтобы ульстить антиллериста, и голосом воет: «Ко мне, кавалер! Ко мне, солдатик бравый!.. Я дешевле продам!» И зубы скалит, толсторожая... И что бы вы думали?.. Старый-то облезлый пес облестился, что его, дурака, молодая баба назвала бравым солдатиком, и к ней... У нее и купил. Ну, и отчесала же я их обоих: и антиллериста, и Глашку!.. Да разве эту подлюгу словом проймешь?

Федос и в особенности Нилыч хорошо знали, что Петровна в минуты возбуждения ругалась не хуже любого боцмана и могла, казалось, пронять всякого. Недаром все на рынке — и торговки, и покупатели — боялись ее языка.

Однако мужчины из деликатности промолчали.

— Беспременно выцарапаю ей глаза, ежели еще раз Глашка осмелится! — повторила Петровна.

— Небось, не посмеет!.. С такой, можно сказать, умственной бабой не посмеет! — проговорил Нилыч.

И, несмотря на то, что уже был достаточно «зарифившись» и еле плел языком, обнаружил, однако, дипломатическую хитрость, начав выхваливать добродетели своей супруги... Она, дескать, и большого ума, и хозяйственна, и мужа своего кормит... одним словом, такой другой женщины не сыскать по всему Кронштадту. После чего намекнул, что если бы теперь по стаканчику пива, то было бы самое лучшее дело... Только по стаканчику...

— Как ты об этом полагаешь, Петровна? — просительным тоном проговорил Нилыч.

— Ишь ведь, старый хрыч... к чему подъезжает!.. И без того слаб... А еще пива ему дай... То-то лестные слова молол, лукавый.

Однако Петровна говорила эти речи без сердца и, как видно, сама находила, что пиво вещь недурная, потому что вскоре надела на голову платок и вышла из комнаты.

Через несколько минут она вернулась, и несколько бутылок пива красовалось на столе.

— И провористая же баба Петровна, я тебе скажу, Фе-

дос... Ах, что за баба! — повторил в пьяном умилении Нилыч после двух стаканов пива.

— Ишь, разлимонило уже! — не без снисходительного презрения промолвила Петровна.

— Меня разлимонило? Старого боцмана?.. Неси еще пару бутылок... Я один выпью... А пока вали, милая супруга, еще стаканчик...

— Будет с тебя...

— Петровна! Уважь супруга...

— Не дам! — резко ответила Петровна.

Нилыч принял обиженный вид.

Был уже пятый час, когда Федос, простившись с хозяевами и поблагодарив за угощение, вышел на улицу. В голове у него шумело, но ступал он твердо и с особенною аффектацией становился во фронт и отдавал честь при встрече с офицерами. И находился в самом добродушном настроении и всех почему-то жалел. И Анютку жалел, и встретившуюся ему на дороге маленькую девочку пожалел, и кошку, прошмыгнувшую мимо него, пожалел, и проходивших офицеров жалел. Идут, мол, а того не понимают, что они несчастные... Бога-то забыли, а он, батюшка, все видит...

Сделав необходимые покупки, Федос пошел на Петровскую пристань, встретил там среди гребцов на дожидающих офицеров шлюпках знакомых, поговорил с ними, узнал, что «Копчик» находится теперь в Ревеле, и в седьмом часу вечера направился домой.

Лайка встретила Чижика радостным бреханьем.

— Здравствуй, Лаечка... Здорово, брат! — ласково приветствовал он собаку и стал ее гладить... — Что, кормили тебя?.. Небось, забыли, а? Погоди... принесу тебе... Чай, в кухне что найдется...

Иван сидел на кухне у окна и играл на гармони.

При виде Федоса, выпившего, он с довольным видом усмехнулся и проговорил:

— Хорошо погуляли?

— Ничего себе погулял...

И, пожалев, что Иван сидит дома один, прибавил:

— Иди и ты погуляй, пока господа не вернутся, а я буду дом сторожить...

— Куда уж теперь гулять... Семь часов! Скоро и господа вернутся...

— Твое дело. А ты мне дай косточек, если есть...

— Бери... Вон лежат...

Чижик взял кости, отнес их собаке и, вернувшись, присел на кухне и неожиданно проговорил:

— А ты, братец мой, лучше живи по-хорошему... Право... И не напущай ты на себя форцу... Все помрем, а на том свете форцу, любезный ты мой, не спросят...

— Это вы в каких, например, смыслах?

— А во всяких... И к Анютке не приставай... Силком девку не приваадишь, а она, сам видишь, от тебя бегает... За другой лучше гоняйся... Грешно забиждать девку-то... И так она забижена! — продолжал Чижик ласковым тоном. — И всем нам без свары жить можно... Я тебе без всякого сердца говорю...

— Уж не вам ли Анютка приглянулась, что вы так заступаетесь?.. — насмешливо проговорил повар.

— Глупый!.. Я в отцы ей гожусь, а не то чтобы какие подлости думать.

Однако Чижик не продолжал разговора в этом направлении и несколько смутился.

А Иван между тем говорил вкрадчивым тенорком:

— Я, Федос Никитич, и сам ничего лучшего не желаю, как жить, значит, в полном с вами согласии... Вы сами мною пренебрегаете...

— А ты форц-то свой брось... Вспомни, что ты матросского звания человек, и никто тобой пренебрегать не будет... Так-то, брат... А то, в денщиках околачиваясь, ты и вовсе совесть забыл... Барыне кляузничаешь... Разве это хорошо?.. Ой, нехорошо это... Неправильно...

В эту минуту раздался звонок. Иван бросился отворять двери.

Пошел и Федос встречать Шурку.

Марья Ивановна пристально оглядела Федоса и произнесла:

— Ты пьян!..

Шурка, хотевший было подбежать к Чижику, был резко одернут за руку.

— Не подходи к нему... Он пьян!

— Никак нет, барыня... Я вовсе не пьян... Почему вы полагаете, что я пьян?.. Я, как следует, в своем виде и все могу справлять... И Лександру Васильича уложу спать и сказку расскажу... А что выпил я маленько... это точно... У боцмана Нилыча... В самую плепорцию... по совести.

— Ступай вон! — крикнула Марья Ивановна. — Завтра я с тобой поговорю.

— Мама... мама... Пусть меня Чижик уложит!

— Я сама тебя уложу! А пьяный не может укладывать.

Шурка залился слезами.

— Молчи, гадкий мальчишка! — крикнула на него мать... — А ты, пьяница, чего стоишь? Ступай сейчас же на кухню и ложись спать.

— Эх, барыня, барыня! — проговорил с выражением не то упрека, не то сожаления Чижик и вышел из комнаты.

Шурка не переставал реветь. Иван торжествующе улыбался.

XII

На следующее утро Чижик, вставший, по обыкновению, в шесть часов, находился в мрачном настроении. Обещание Лузгиной «поговорить» с ним сегодня, по соображениям Федоса, не предвещало ничего хорошего. Он давно видел, что барыня терпеть его не может, зря придираясь к нему, и с тревогой в сердце догадывался, какой это будет «разговор». Догадывался и становился мрачнее, сознавая в то же время полную свою беспомощность и зависимость от «белобрысой», которая почему-то стала его начальством и может сделать с ним все, что ей угодно.

«Главная причина — зла на меня, и нет в ей ума, чтобы понять человека!»

Так размышлял о Лузгиной старый матрос и в эту минуту не утешался сознанием, что она будет на том свете в аду, а мысленно довольно-таки энергично выругал самого Лузгина за то, что он дает волю такой «злющей ведьме», как эта белобрысая. Ему бы, по-настоящему, следовало усмирить ее, а он...

Федос вышел на двор, присел на крыльце и, порядочно-таки взволнованный, курил трубочку за трубочкой в ожидании, пока закипит поставленный им для себя самовар.

На дворе уже началась жизнь. Петух то и дело вскрикивал, как сумасшедший, приветствуя радостное, погожее утро. В зазеленевшем саду чирикали воробьи и заливалась малиновка. Ласточки носились взад и вперед, скрываясь на минутку в гнездах, и снова вылетали на поиски за добычкой.

Но сегодня Федос не с обычным радостным чувством глядел на все окружающее. И когда Лайка, только что проснувшаяся, поднялась на ноги и, потянувшись всем

своим телом, подбежала, весело повиливая хвостом, к Чижику, он поздоровался с ней, погладил ее и, словно бы отвечая на занимавшие его мысли, проговорил, обращаясь к ласкавшейся собаке:

— Тоже, брат, и наша жизнь вроде твоей собачьей... Какой попадется хозяин...

Вернувшись на кухню, Федос презрительно повел глазами на только что вставшего Ивана и, не желая обнаруживать перед ним своего тревожного состояния, принял спокойно-суровый вид. Он видел вчера, как злорадствовал Иван в то время, когда кричала барыня, и, не обращая на него никакого внимания, стал пить чай.

На кухню вошла Анютка, заспанная, немытая, с румянцем на бледных щеках, имея в руках барынино платье и ботинки. Она поздоровалась с Федосом как-то особенно ласково после вчерашней истории и не кивнула даже в ответ на любезное приветствие повара с добрым утром.

Чижик предложил Анютке попить чайку и дал ей кусок сахару. Она наскоро выпила две чашки и, поблагодарив, поднялась.

— Пей еще... Сахар есть, — сказал Федос.

— Благодарствуйте, Федос Никитич. Надо барынино платье чистить поскорей. И неравно ребенок проснется...

— Давай я, что ли, почищу, а ты пока угощайся чаем! — предложил Иван.

— Тебя не просят! — резко оборвала повара Анютка и вышла из кухни.

— Ишь какая сердитая, скажите, пожалуйста! — кинул ей вслед Иван.

И, покрасневший от досады, взглянул исподлобья на Чижика и, усмехнувшись, подумал:

«Ужо будет тебе сегодня, матрозне!»

Ровно в семь часов Чижик пошел будить Шурку. Шурка уже проснулся и, припомнив вчерашнее, сам был невесел и встретил Федоса словами:

— А ты не бойся, Чижик... Тебе ничего не будет!..

Он хотел утешить и себя и своего любимца, хотя в душе и далеко был не уверен, что Чижику ничего не будет.

— Бойся — не бойся, а что бог даст! — отвечал, подавляя вздох, Федос. — С какой еще ноги маменька встанет! — угрюмо прибавил он.

— Как о какой ноги?

— А так говорится. В каком, значит, характере будет...

А только твоя маменька напрасно полагает, что я вчера пьяный был... Пьяные не такие бывают. Ежели человек может, как следует, сполнять свое дело, какой же он пьяный?..

Шурка вполне с этим согласился и сказал:

— И я вчера маме говорил, что ты совсем не был пьян, Чижик... Антон не такой бывал... Он качался, когда шел, а ты вовсе не качался...

— То-то и есть... Ты вот малолеток и то понял, что я был в своем виде... Я, брат, знаю меру... И папенька твой ничего бы не сделал, увидавши меня вчерась. Увидал бы, что я выпил в плепорцию... Он понимает, что матросу в праздник не грех погулять... И никому вреды от того нет, а маменька твоя рассердилась. А за что? Что я ей сделал?..

— Я буду маму просить, чтоб она на тебя не сердилась... Поверь, Чижик...

— Верю, хороший мой, верю... Ты-то — добер... Ну, иди теперь чай пить, а я пока комнату твою уберу, — сказал Чижик, когда Шурка был готов.

Но Шурка, прежде чем итти, сунул Чижику яблоко и конфетку и проговорил:

— Это тебе, Чижик. Я и Анютке оставил.

— Ну, спасибо. Только я лучше спрячу... После сам скушаешь на здоровье.

— Нет, нет... Непременно съешь... Яблоко пресладкое. А я попрошу маму, чтобы она не сердилась на тебя, Чижик... Попрошу! — снова повторил Шурка.

И с этими словами, озабоченный и встревоженный, вышел из детской.

— Ишь ведь — дитё, а чует, какова маменька! — прошептал Федос и принялся с каким-то усердным ожесточением убирать комнату.

XIII

Не прошло и пяти минут, как в детскую вбежала Анютка и, глотая слезы, проговорила:

— Федос Никитич! Вас барыня зовет!

— А ты чего плачешь?

— Сейчас меня била и грозит высечь...

— Ишь, ведьма!.. За что?

— Верно, этот подлый человек ей чего наговорил... Она сейчас на кухне была и вернулась злющая-презлющая...

— Подлый человек всегда подлого слушает.

— А вы, Федос Никитич, лучше повинитесь за вчерашнее... А то она...

— Чего мне виниться! — угрюмо промолвил Федос и пошел в столовую.

Действительно, госпожа Лузгина, вероятно, встала сегодня с левой ноги, потому что сидела за столом хмурая и сердитая. И, когда Чижик явился в столовую и почтительно вытянулся перед барыней, она взглянула на него такими злыми и холодными глазами, что мрачный Федос стал еще мрачнее.

Смущенный Шурка замер в ожидании чего-то страшного и умоляюще смотрел на мать. Слезы стояли в его глазах.

Прошло несколько секунд в томительном молчании.

Вероятно, молодая женщина ждала, что Чижик станет просить прощения за то, что был пьян и осмелился дерзко отвечать.

Но старый матрос, казалось, вовсе и не чувствовал себя виновным.

И эта «бесчувственность» дерзкого «мужлана», не признающего, повидимому, авторитета барыни, еще более злила молодую женщину, привыкшую к раболепию окружающих.

— Ты помнишь, что было вчера? — произнесла она наконец тихим голосом, медленно отчеканивая слова.

— Все помню, барыня. Я пьяным не был, чтобы не помнить.

— Не был? — протянула, зло усмехнувшись, барыня. — Ты, верно, думаешь, что пьян только тот, кто валяется на земле?..

Федос молчал: что, мол, отвечать на глупости!

— Я тебе что говорила, когда брала в денщики? Говорила я тебе, чтобы ты не смел пить? Говорила?.. Что ж ты стоишь, как пень?.. Отвечай!

— Говорили.

— А Василий Михайлович говорил тебе, чтобы ты меня слушался и чтобы не смел грубить? Говорил? — допрашивала все тем же ровным, бесстрастным голосом Лузгина.

— Сказывали.

— А ты так-то слушаешь приказания?.. Я выучу тебя, как говорить с барыней... Я покажу тебе, как представляться тихоней да исподтишка заводить шашни... Я вижу... все знаю! — прибавила Марья Ивановна, бросая взгляд на Анютку.

Тут Федос не вытерпел.

— Это уж вы напрасно, барыня... Как перед господом богом говорю, что никаких шашней не заводил... А ежели вы слушаете кляузы да наговоры подлеца вашего повара, то как вам будет угодно... Он вам еще не то набрешет! — проговорил Чижик.

— Молчать! как ты смеешь так со мной говорить!? Анютка! Принеси мне перо, чернила и почтовой бумаги!

— Мама! — умоляющим, вздрагивающим голосом воскликнул Шурка.

— Убирайся вон! — прикрикнула на него мать.

— Мама... мамочка... милая... хорошая... Если ты меня любишь... не посылай Чижика в экипаж...

И, весь потрясенный, Шурка бросился к матери и, рыдая, припал к ее руке.

Федос почувствовал, что у него щекочет в горле. И хмурое лицо его просветлело в благодарном умилении.

— Пошел вон!.. Не твое дело!

И с этими словами она оттолкнула мальчика... Пораженный, все еще не веря решению матери, он отошел в сторону и плакал.

Лузгина в это время быстро и нервно писала записку к экипажному адъютанту. В этой записке она просила «не отказать ей в маленьком одолжении» — приказать высечь ее денщика за пьянство и дерзости. В конце записки она сообщала, что завтра собирается в Ораниенбаум на музыку, и надеялась, что Михаил Александрович не откажется ей сопутствовать.

Запечатав конверт, она отдала его Чижику и сказала:

— Сейчас отправляйся в экипаж и отдай это письмо адъютанту!

— Слушаю-с! — дрогнувшим голосом ответил матрос, хмуря нависшие брови и стараясь скрыть волнение, охватившее его.

Шурка рванулся к матери.

— Мамочка... ты этого не сделаешь... Чижик!.. Постой... не уходи! Он чудный... славный... Мамочка!.. милая... родная... Не посылай его! — молил Шурка.

— Ступай! — крикнула Лузгина денщику. — Я знаю, что ты подучил глупого мальчика... Думал меня разжалобить?..

— Не я учил, а бог! Вспомните его когда-нибудь, барыня! — с какою-то суровою торжественностью прогово-

рил Федос и, кинув взгляд, полный любви, на Шурку, вышел из комнаты.

— Ты, значит, гадкая... злая... Я тебя не люблю! — вдруг крикнул Шурка, охваченный негодованием и возмущенный такою несправедливостью. — И я никогда не буду любить тебя! — прибавил он, сверкая заплаканными глазенками.

— Вот ты какой!? Вот чему научил тебя этот мерзавец!? Ты смеешь так говорить с матерью?

— Чижик не мерзавец... Он хороший, а ты... нехорошая! — в бешеной отваге отчаяния продолжал Шурка.

— Так я и тебя выучу, как говорить со мной, мерзкий мальчишка! Анютка! Скажи Ивану, чтобы принес розги...

— Что ж... секи... гадкая... злая... Секи!.. — в каком-то диком ожесточении вопил Шурка.

И в это же время личико его покрывалось смертельною бледностью, все тело вздрагивало, а большие, с расширенными зрачками глаза с выражением ужаса смотрели на двери...

Раздирающие душу вопли наказываемого ребенка донеслись до ушей Федоса, когда он выходил со двора, имея за обшлагом рукава шинели записку, содержание которой не оставляло в матросе никаких сомнений.

Полный чувства любви и сострадания, он в эту минуту забыл о том, что ему самому под конец службы предстоит порка, и, растроганный, жалел только мальчика. И он почувствовал, что этот барчук, не побоявшийся пострадать за своего пестуна, отныне стал ему еще дороже и совсем завладел его сердцем.

— Ишь ведь подлая! Даже родное дитё не пожалела! — проговорил с негодованием Чижик и прибавил шагу, чтобы не слыхать этого детского крика, то жалобного, молящего, то переходящего в какой-то рев затравленного, беспомощного зверька.

XIV

Молодой мичман, сидевший в экипажной канцелярии, был удивлен, прочитав записку Лузгиной. Он служил раньше в одной роте с Чижиком и знал, что Чижик считался одним из лучших матросов в экипаже и никогда не был ни пьяницей, ни грубияном.

— Ты что это, Чижик? Пьянствовать начал?
— Никак нет, ваше благородие...
— Однако... Марья Ивановна пишет...
— Точно так, ваше благородие...
— Так в чем же дело, объясни.
— Вчера выпил я маленько, ваше благородие, отпросившись со двора, и вернулся как следует, в настоящем виде... в полном, значит, рассудке, ваше благородие...
— Ну?
— А госпоже Лузгиной и покажись, что я пьян... Известно, по женскому своему понятию, она не рассудила, какой есть пьяный человек...
— Ну, а насчет дерзостей?.. Ты нагрубил ей?
— И грубостей не было, ваше благородие... А что насчет ейного повара-денщика я сказал, что она слушает его подлые кляузы, это точно...
И Чижик правдиво рассказал, как было дело.
Мичман несколько минут был в раздумье. Он знаком был с Марией Ивановной, одно время был даже к ней неравнодушен и знал, что это дама очень строгая и придирчивая с прислугой, и что муж ее довольно-таки часто посылал денщиков в экипаж для наказания, разумеется, по настоянию жены, так как всем было известно в Кронштадте, что Лузгин, сам человек мягкий и добрый, находится под башмаком у красивой Марьи Ивановны.
— А все-таки, Чижик, я должен исполнить просьбу Марьи Ивановны, — проговорил наконец молодой офицер, отводя от Чижика несколько смущенный взор.
— Слушаю, ваше благородие.
— Ты понимаешь, Чижик, я должен... — мичман подчеркнул слово «должен», — ей верить. И Василий Михайлович просил, чтобы требования его жены о наказаниях денщиков исполнялись, как его собственные.
Чижик понимал только, что его будут сечь по желанию «белобрысой», и молчал.
— Я тут, Чижик, ни при чем! — словно бы оправдывался мичман.
Он ясно сознавал, что совершает несправедливое и беззаконное дело, собираясь наказать матроса по просьбе дамы, и что, по долгу службы и совести, не должен совершать его, имей он хоть немножко мужества. Но он был слабый человек и, как все слабые люди, успокаивал себя тем, что если Чижика он не накажет теперь, то по возвращении из

плавания Лузгина матрос будет наказан еще беспощаднее. Кроме того, придется поссориться с Лузгиным и, быть может, иметь неприятности и с экипажным командиром: последний был дружен с Лузгиными, втайне, кажется, даже вздыхал по барыньке, прельщавшей старого, как спичка худенького моряка главным образом своим пышным станом, и, не отличаясь большою гуманностью, находил, что матросу никогда не мешает «всыпать».

И молодой офицер приказал дежурному приготовить все, что нужно, в цейхгаузе для наказания.

В большом цейхгаузе тотчас же была поставлена скамейка. Два унтер-офицера с напряженно-недовольными лицами стали по бокам, имея в руках по толстому пучку свежих зеленых прутьев. Такие же пучки лежали на полу на случай, если понадобится менять розги.

Еще не совсем «закалившийся», недолго служивший во флоте мичман, слегка взволнованный, стал поодаль.

Сознавая всю несправедливость предстоящего наказания, Чижик с какою-то угрюмой покорностью, чувствуя стыд и в то же время позор оскорбленного человеческого достоинства, стал раздеваться необыкновенно торопливо, словно ему было неловко, что он заставляет ждать и этих двух хорошо знакомых унтер-офицеров, и этого молодого мичмана.

Оставшись в одной рубахе, Чижик перекрестился и лег ничком на скамейку, положив голову на скрещенные руки, и тотчас же зажмурил глаза.

Давно уже его не наказывали, и эта секунда-другая в ожидании удара была полна невыразимой тоски от сознания своей беспомощности и унижения... Перед ним пронеслась вся его безотрадная жизнь.

Мичман между тем подозвал к себе одного из унтер-офицеров и шепнул:

— Полегче!

Унтер-офицер просветлел и шепнул о том же товарищу.

— Начинай! — скомандовал молодой человек, отворачиваясь.

После десятка ударов, не причинивших почти никакой боли Чижику, так как эти зеленые прутья после энергичного взмаха едва только касались его тела, — мичман крикнул:

— Довольно! Явись после ко мне, Чижик!

И с этими словами вышел.

Чижик, попрежнему угрюмый, испытывая стыд, несмотря на комедию наказания, торопливо оделся и проговорил:

— Спасибо, братцы, что не били... Одним только срамом отделался...

— Это адъютант приказывал. А тебя за что это прислали, Федос Никитич?

— А за то, что глупая и злющая баба у меня теперь вроде главного начальника...

— Это кто же?..

— Лузгиниха...

— Известная живодерка! Часто присылает сюда денщиков! — заметил один из унтер-офицеров. — Как же ты будешь жить-то теперь у нее?

— Как бог даст... Надо жить... Ничего не поделаешь... Да и мальчонка ейный, у которого я в няньках, славный... И его, братцы, бросить жалко... Из-за меня и его секли... Заступался, значит, перед матерью...

— Ишь ты... Не в мать, значит.

— Вовсе не похож... Добер — страсть!

Чижик явился в канцелярию и прошел в кабинет, где сидел адъютант. Тот передал Чижику письмо и проговорил:

— Отдай Марье Ивановне... Я ей пишу, что тебя строго наказали...

— Премного благодарен, что пожалели старого матроса, ваше благородие! — с чувством проговорил Чижик.

— Я что ж... Я, братец, не зверь... Я и совсем бы не наказал тебя... Я знаю, какой ты исправный и хороший матрос! — говорил все еще смущенный мичман. — Ну, ступай к своей барыне... Дай тебе бог с ней ужиться... Да смотри... не болтай, как тебя наказывали! — прибавил мичман.

— Не извольте сумлеваться! Счастливо оставаться, ваше благородие!

XV

Шурка сидел, забившись в угол детской, с видом запуганного зверька. Он то и дело всхлипывал. При каждом новом воспоминании о нанесенной ему обиде рыдания подступали к горлу, он вздрагивал, и злое чувство приливало к сердцу и охватывало все его существо. Он в эти минуты ненавидел мать, но еще более Ивана, который явился с розгами веселый и улыбающийся и так крепко сжимал его бьющееся тело во время наказания. Не держи его этот гадкий человек так крепко, он бы убежал.

И в голове мальчика бродили мысли о том, как он отомстит повару... Непременно отомстит... И расскажет папе, как только он вернется, как несправедливо поступила мама с Чижиком... Пусть папа узнает...

По временам Шурка выходил из своего угла и взглядывал в окно: не идет ли Чижик?.. «Бедный Чижик! Верно, и его больно секли... А он не знает, что и меня высекли за него. Я ему все... все расскажу!»

Эти мысли о Чижике несколько успокаивали его, и он ждал возвращения своего друга с нетерпением.

Марья Ивановна, сама взволнованная, ходила по своей большой спальне, полная ненависти к денщику, из-за которого ее Шурка осмелился так говорить с матерью. Положительно этот матрос имеет скверное влияние на мальчика, и его следует удалить... Вот только вернется из плавания Василий Михайлович, и она попросит его взять другого денщика. А пока — нечего делать — придется терпеть этого грубияна. Наверное, он не посмеет теперь напиваться пьяным и грубить ей после того, как его в экипаже накажут... Необходимо было его проучить!

Марья Ивановна несколько раз тихонько заглядывала в детскую и снова возвращалась, напрасно ожидая, что Шурка придет просить прощения.

Раздраженная, она то и дело бранила Анютку и стала допрашивать ее насчет ее отношений с Чижиком.

— Говори, подлянка, всю правду... Говори...

Анютка клялась в своей невиновности.

— Повар, так тот, барыня, прохода мне не давал! — говорила Анютка. — Все лез с разными подлостями, а Федос никогда и не думал, барыня...

— Отчего же ты раньше мне ничего не сказала о поваре? — подозрительно спрашивала Лузгина.

— Не смела, барыня... Думала, отстанет...

— Ну, я вас всех разберу... Ты смотри у меня!.. Поди узнай, что делает Александр Васильевич!

Анютка вошла в детскую и увидала Шурку, кивающего в окно возвращавшемуся Чижику.

— Барчук! Маменька приказали узнать, что вы делаете... Что прикажете сказать?

— Скажи, Анютка, что я пошел в сад погулять...

И с этими словами Шурка выбежал из комнаты, чтобы встретить Чижика.

XVI

У ворот Шурка бросился к Федосу.

Участливо заглядывая в его лицо, он крепко ухватился за шершавую, мозолистую руку матроса и, глотая слезы, повторял, ласкаясь к нему:

— Чижик... Милый, хороший Чижик.

Мрачное и смущенное лицо Федоса озарилось выражением необыкновенной нежности.

— Ишь ведь, сердешный! — взволнованно прошептал он.

И, бросив взгляд на окна дома — не торчит ли «белобрысая», Федос быстрым движением поднял Шурку, прижал его к своей груди и осторожно, чтобы не уколоть его своими щетинистыми усами, поцеловал мальчика. Затем он так же быстро опустил его на землю и проговорил:

— Теперь иди домой поскорей, Лександра Васильич. Иди, мой ласковый...

— Зачем? Мы вместе пойдем.

— То-то не надо вместе. Неравно маменька из окна углядит, что ты встрел свою няньку, и опять засерчает.

— И пусть глядит... Пусть злится!

— Да ты никак бунтовать против маменьки? — промолвил Чижик. — Не годится, милый мой, Лександра Васильевич, бунтовать против родной матери. Ее почитать следует... Иди, иди... ужо наговоримся...

Шурка, всегда охотно слушавший Чижика, так как вполне признавал его нравственный авторитет, и теперь готов был исполнить его совет. Но ему хотелось поскорей утешить друга в постигшем его несчастии, и потому, прежде чем уйти, он не без некоторого чувства горделивости произнес:

— А знаешь, Чижик, и меня высекли!

— То-то знаю. Слышал, как ты кричал, бедненький... Из-за меня ты потерпел, голубчик!.. Бог тебе это зачтет, небось! Ну иди же, иди, родной, а то нам с тобой опять попадет...

Шурка убежал, еще более привязанный к Чижику. Несправедливое наказание, которому они оба подверглись, сильнее закрепило их любовь.

Выждав минуту-другую у ворот, Федос твердою и решительною походкой направился через двор в кухню, стараясь под видом презрительной суровости скрыть пред посторонними невольный стыд высеченного человека.

Иван оглядел Чижика улыбающимися глазами, но Чижик

даже и не удостоил обратить внимания на повара, точно его и не было на кухне, и прошел в свой уголок в соседней комнате.

— Барыня приказали, чтобы вы немедленно явились к ней, как вернетесь из экипажа! — крикнул ему из кухни Иван.

Чижик не отвечал.

Не спеша, снял он шинель, переобулся в парусинные башмаки, достал из сундука яблоко и конфетку, данные ему утром Шуркой, сунул их в карман и, вынув из-за обшлага шинели письмо экипажного адъютанта, пошел в комнаты.

В столовой барыни не было. Там была одна Анютка. Она ходила взад и вперед по комнате, закачивая ребенка и напевая своим приятным голоском какую-то песенку.

Заметив Федоса, Анютка подняла на него свои испуганные глаза. В них теперь светилось выражение скорби и участия.

— Вам барыню, Федос Никитич? — шепнула она, подходя к Чижику.

— Доложи, что я вернулся из экипажа, — промолвил смущенно матрос, опуская глаза.

Анютка направилась было в спальню, но в ту же минуту Лузгина вошла в столовую.

Федос молча подал ей письмо и отошел к дверям.

Лузгина прочла письмо. Видимо, удовлетворенная тем, что просьба ее была исполнена и что дерзкого денщика строго наказали, она проговорила:

— Надеюсь, наказание будет тебе хорошим уроком, и ты не осмелишься более грубить...

Чижик угрюмо молчал.

А Лузгина между тем продолжала уже более мягким тоном:

— Смотри же, Феодосий, веди себя, как следует порядочному денщику... Не пей водки, будь всегда почтителен к своей барыне... Тогда и мне не придется наказывать тебя...

Чижик не ронял ни слова.

— Понял, что я тебе говорю? — возвысила голос барыня, недовольная этим молчанием и угрюмым видом денщика.

— Понял!

— Так что ж ты молчишь?.. Надо отвечать, когда с тобой говорят.

— Слушаю-с! — автоматически отвечал Чижик.

— Ну, ступай к молодому барину... Можете итти в сад...

Чижик вышел, а молодая женщина вернулась в спальную,

возмущенная бесчувственностью этого грубого матроса. Решительно Василий Михайлович не понимает людей. Расхваливал этого денщика, как какое-то сокровище, а он и пьет, и грубит, и не чувствует никакого раскаяния.

— Ах, что за грубый народ эти матросы! — произнесла вслух молодая женщина.

После завтрака она собралась в гости. Перед тем что уходить, она приказала Анютке позвать молодого барина.

Анютка побежала в сад.

В глубине густого, запущенного сада, под тенью раскидистой липы сидели рядом на траве Чижик и Шурка. Чижик мастерил бумажный змей и о чем-то тихо рассказывал. Шурка внимательно слушал.

— Пожалуйте к маменьке, барчук! — проговорила Анютка, подбегая к ним, вся раскрасневшаяся.

— Зачем? — недовольно спросил Шурка, который чувствовал себя так хорошо с Чижиком, рассказывавшим ему необыкновенно интересные вещи.

— А не знаю. Маменька собралась со двора. Должно быть, хотят с вами проститься...

Шурка неохотно поднялся.

— Что, мама сердитая? — спросил он Анютку.

— Нет, барчук... Отошли...

— А ты торопись, ежели маменька требует... Да смотри не бунтуй, Лексаидра Васильич, с маменькой-то. Мало ли что у матери с сыном выйдет, а все надо почитать родительницу, — ласково напутствовал Шурку Чижик, оставляя работу и закуривая трубочку.

Шурка вошел в спальню боязливо, имея обиженный вид, и смущенно остановился в нескольких шагах от матери.

В нарядном шелковом платье и белой шляпке, красивая, цветущая и благоухающая, Марья Ивановна подошла к Шурке и, ласково потрепав его по щеке, проговорила с улыбкой:

— Ну, Шурка, довольно дуться... Помиримся... Проси у мамы прощенья за то, что ты назвал ее гадкой и злой... Целуй руку...

Шурка поцеловал эту белую пухлую руку в кольцах, и слезы подступили к его горлу.

Действительно, он виноват: он назвал маму злой и гадкой. А Чижик недаром говорит, что грешно быть дурным сыном.

И Шурка, преувеличивая свою вину под влиянием охватившего его чувства, взволнованно и порывисто проговорил:

— Прости, мама!

Этот искренний тон, эти слезы, дрожавшие на глазах мальчика, тронули сердце матери. Она, в свою очередь, почувствовала себя виноватой за то, что так жестоко наказала своего первенца. Пред ней представилось его страдальческое личико, полное ужаса, в ее ушах слышались его жалобные крики, и жалость самки к детенышу охватила молодую женщину. Ей хотелось теперь горячо приласкать мальчика.

Но она торопилась ехать с визитами, и ей было жаль нового парадного платья, и потому она ограничилась лишь тем, что, нагнувшись, поцеловала Шурку в лоб и сказала:

— Забудем, что было. Ты ведь больше не будешь бранить маму?

— Не буду.

— И любишь попрежнему свою маму?

— Люблю.

— И я тебя люблю, моего мальчика. Ну, до свидания. Ступай в сад...

И с этими словами Лузгина потрепала еще раз Шурку по щеке, улыбнулась ему и, шелестя шелковым платьем, вышла из спальни.

Шурка возвращался в сад, не совсем удовлетворенный. Впечатлительному мальчику и слова и ласка матери казались недостаточными и не соответствующими его переполненному чувством раскаяния сердцу. Но еще более его смущало то, что с его стороны примирение было не полное. Хотя он и сказал, что любит маму попрежнему, но чувствовал в эту минуту, что в душе его еще осталось что-то неприязненное к матери, и не столько за себя, сколько за Чижика.

XVII

— Ну, как дела, голубок? Замирился с маменькой? — спрашивал Федос подошедшего тихими шагами Шурку.

— Помирился... И я, Чижик, прощения просил, что обругал маму...

— А разве было такое?

— Было... Я маму назвал злой и гадкой.

— Ишь ведь ты какой у меня отчаянный! Маменьку да как отчекрыжил!..

— Это я за тебя, Чижик — поспешил оправдаться Шурка.

— То-то понимаю, что за меня... А главная причина — сердце твое не стерпело неправды... вот из-за чего ты

взбунтовался, махонький... Оттого ты и Антона жалел... Бог за это простит, хуч ты и матери родной сгрубил... А все-таки это ты правильно, что повинился. Как ни как, а мать... И когда ежели человек чувствует, что виноват, — повинись. Что бы там ни вышло, а самому легче будет... Так ли я говорю, Лександра Васильич? Ведь легче?..

— Легче, — проговорил раздумчиво мальчик.

Федос пристально поглядел на Шурку и спросил:

— Так что же ты ровно затих, посмотрю, а? Какая такая причина, Лександра Васильич? Сказывай, а мы вместе обсудим. После замирения у человека душа бывает легкая, потому все тяжелое зло из души-то выскочит, а ты, гляди-ко-сь, какой туманливый... Или маменька тебя позудила?..

— Нет, не то, Чижик... Мама меня не зудила...

— Так в чем же беда?.. Садись-ка на травку да сказывай... А я буду змея кончать... И важнецкий, я тебе скажу, у нас змей выйдет... Завтра утром, как ветерок подует, мы его спустим...

Шурка опустился на траву и несколько времени молчал.

— Ты вот говоришь, что зло выскочит, а у меня оно не выскочило! — вдруг проговорил Шурка.

— Как так?

— А так, что я все-таки сержусь на маму и не так люблю ее, как прежде... Это ведь нехорошо, Чижик? И хотел бы не сердиться, а не могу...

— За что же ты сердишься, коли вы замирились?

— За тебя, Чижик...

— За меня? — воскликнул Федос.

— Зачем мама напрасно посылала тебя в экипаж? За что она называет тебя дурным, когда ты хороший?

Старый матрос был тронут этой привязанностью мальчика и этой живучестью возмущенного чувства. Мало того, что он потерпел за своего пестуна, он до сих пор не может успокоиться.

«Ишь ведь божья душа!» умиленно подумал Федос и в первое мгновение решительно не знал, что на это ответить и как успокоить своего любимца.

Но скоро любовь к мальчику подсказала ему ответ.

С чуткостью преданного сердца он понял лучше самых опытных педагогов, что надо уберечь ребенка от раннего озлобления против матери и во что бы то ни стало защитить в его глазах ту самую «подлую белобрысую», которая отравляла ему жизнь.

И он проговорил:

— А ты все-таки не сердись! Раскинь умишком, и сердце отойдет... Мало ли какое у человека бывает понятие... У одного, скажем, на аршин, у другого — на два... Мы вот с тобой полагаем, что меня здря наказали, а маменька твоя, может, полагает, что не здря. Мы вот думаем, что я не был пьяный и не грубил, а маменька, братец ты мой, может, думает, что я и пьян был, и грубил и что за это меня следовало отодрать по всей форме...

Перед Шуркой открывался, так сказать, новый горизонт. Но, прежде чем вникнуть в смысл слов Чижика, он не без участливого любопытства спросил самым серьезным тоном:

— А тебя очень больно секли, Чижик? Как сидорову козу? — вспомнил он выражение Чижика. — И ты кричал?

— Вовсе даже не больно, а не то что как сидорову козу! — усмехнулся Чижик.

— Ну?! . А ты говорил, что матросов секут больно.

— И очень больно... Только меня, можно сказать, ровно и не секли. Так только, для сраму, наказали и чтобы маменьке угодить, а я и не слыхал, как секли... Спасибо, добрый мичман в адъютантах... Он и пожалел... не приказал по форме сечь... Только ты, смотри, об этом не проговорись маменьке... Пусть думает, что меня как следует отодрали...

— Ай да молодец мичман!.. Это он ловко придумал. А меня, Чижик, так очень больно высекли...

Чижик погладил Шурку по голове и заметил:

— То-то я слышал и жалел тебя... Ну да что об этом говорить... Что было, то прошло.

Наступило молчание.

Федос хотел было предложить сыграть в дураки, но Шурка, видимо, чем-то озабоченный, спросил:

— Так ты, Чижик, думаешь, что мама не понимает, что виновата перед тобой?

— Пожалуй, что и так. А, может, и понимает, да не хочет показать виду перед простым человеком. Тоже бывают такие люди, которые гордые. Вину свою чуют, а не сказывают...

— Хорошо... Значит, мама не понимает, что ты хороший, и от этого тебя не любит?

— Это ейное дело судить о человеке, и за то сердце против маменьки иметь никак невозможно... К тому же, по женскому званию, она и совсем другого рассудка, чем мужчина... Ей человек не сразу оказывается... Бог даст, опо-

сля и она распознает, каков я есть, значит, человек, и станет меня лучше понимать. Увидит, что хожу я за ее сыночком как следует, берегу его, сказки ему сказываю, ничему дурному не научаю и что живем мы с тобой, Лександра Васильич, согласно, — сердце-то материнское, глядишь, свое и окажет. Любя свое дитё родное, и няньку евойную не станет утеснять дарма. Все, братец ты мой, временем приходит, пока господь не умудрит... Так-то, Лександра Васильич... И ты зла не таи против своей маменьки, друг мой сердечный! — заключил Федос.

Благодаря этим словам мать была до некоторой степени оправдана в глазах Шурки, и он, просветлевший и обрадованный, как бы в благодарность за это оправдание, разрешившее его сомнения, порывисто поцеловал Чижика и уверенно воскликнул:

— Мама непременно полюбит тебя, Чижик! Она узнает, какой ты! Узнает!

Федос, далеко не разделявший этой радостной уверенности, с лаской глядел на повеселевшего мальчика.

А Шурка оживленно продолжал:

— И тогда мы, Чижик, отлично заживем... Никогда мама не пошлет тебя в экипаж... И этого гадкого Ивана прогонит... Это ведь он наговаривает на тебя маме... Я его терпеть не могу... И меня он крепко давил, когда мама секла... Как папа вернется, я ему все расскажу про этого Ивана... Ведь правда, надо рассказать, Чижик?

— Не говори лучше... Не заводи кляуз, Лександра Васильич. Не путайся в эти дела... Ну их! — брезгливо промолвил Федос и махнул рукой с видом полнейшего пренебрежения: — правда, брат, сама скажет, а жаловаться барчуку на прислугу, без крайности, не годится... Другой несмышленый да озорной ребенок и здря родителям пожалуется, а родители не разберут и прислугу отшлифуют. Небось, не сладко. Тоже и Иван этот самый... Хучь он и довольно даже подлый человек, что на своего же брата господам брешет, а ежели по-настоящему-то рассудить, так он и совесть-то потерял не по своей только вине. Он, например, ежели пришел наушничать, так ты его, подлеца, в зубы, да раз, да два, да в кровь, — говорил, загораясь негодованием, Федос. — Небось, больше не придет... И опять же: Иван все в денщиках околачивался, ну и вовсе бессовестным стал... Известно ихнее лакейское дело: настоящей, значит, трудливой работы нет, а прямо сказать — одна

только фальшь... Тому угоди, тому подай, к тому подлестись, — человек и фальшит да брюхо отращивает, да чтобы скуснее объедки господские сожрать... Будь он форменным матросом, может, и Иван этой в себе подлости не имел... Матросики вывели бы его на линию... Так обломали бы его, что мое вам почтение!.. То-то оно и есть!.. И Иван стал бы другим Иваном... Однако брешу я, старый, только скуку навожу на тебя, Лександра Васильич... Давай-ка в дураки, а то в рамцу... Веселее будет...

Он вынул из кармана карты, вынул яблоко и конфетку и, подавая Шурке, промолвил:

— На-кось, покушай...

— Это твое, Чижик...

— Ешь, говорят... Мне и скусу не понять, а тебе лестно... Ешь!

— Ну, спасибо, Чижик... Только ты возьми половину.

— Разве кусочек... Ну, сдавай, Лександра Васильич... Да смотри, опять не объегорь няньку... Третьего дня все меня в дураках оставлял! Дошлый ты в картах! — промолвил Федос.

Оба примостились поудобнее на траве, в тени, и стали играть в карты.

Скоро в саду раздался веселый, торжествующий смех Шурки и намеренно ворчливый голос нарочно проигрывающего старика:

— Ишь ведь, опять оставил в дураках... Ну ж и дока ты, Лександра Васильич!

XVIII

Конец августа на дворе. Холодно, дождливо и неприветливо. Солнца не видать из-за свинцовых туч, окутавших со всех сторон небо. Ветер так и гуляет по грязным кронштадтским улицам и переулкам, напевая тоскливую осеннюю песню, и порой слышно, как ревет море.

Большая эскадра старинных парусных кораблей и фрегатов уже возвратилась из долгого крейсерства в Балтийском море под начальством известного в те времена адмирала, который, охотник выпить, говорил бывало у себя за обедом: «Кто хочет быть пьян, садись подле меня, а кто хочет быть сыт, садись подле брата». Брат был тоже адмирал и славился обжорством.

Корабли втянулись в гавань и «разоружались», готовясь

к зимовке. Кронштадтские рейды опустели, но зато затихшие летом улицы оживились.

«Копчик» еще не вернулся из плавания. Его ждали со дня на день.

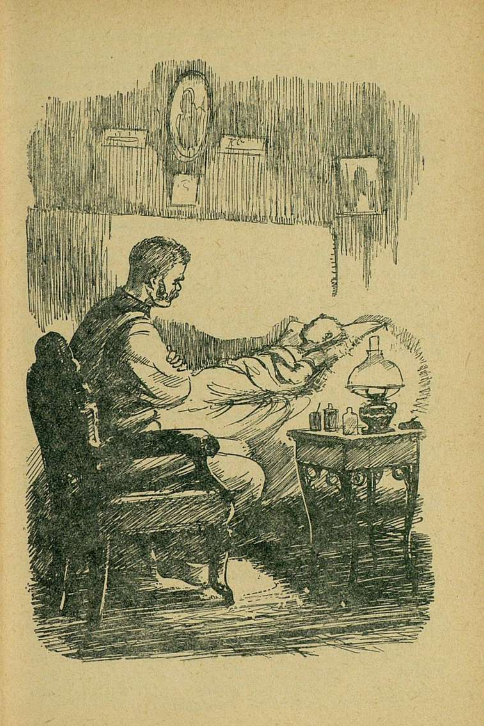
В квартире у Лузгиных стоит тишина, та подавляющая тишина, которая бывает в домах, где есть тяжело больные. Все ходят на цыпочках и говорят неестественно тихо.

Шурка болен и болен серьезно. У него воспаление обоих легких, которым осложнилась бывшая у него корь. Вот уже две недели, как он лежит пластом на своей кроватке, исхудалый, с осунувшимся личиком и лихорадочно блестящими глазами, большими и скорбными, покорно притихший, точно подстреленная птица. Доктор два раза ходит в день, и его добродушное лицо при каждом посещении делается все серьезнее и серьезнее, причем губы как-то комично вытягиваются, точно он ими выражает опасность положения.

Все это время Чижик находился безотлучно при Шурке. Больной настоятельно требовал, чтобы Чижик был при нем, и рад был, когда Чижик давал ему лекарство, и улыбался подчас, слушая его веселые сказки. По ночам Чижик дежурил, словно на вахте, на кресле около Шуркиной кровати и не спал, сторожа малейшее движение тревожно спавшего мальчика. А днем Чижик успевал бегать и в аптеку, и по разным делам и находил время смастерить какую-нибудь самодельную игрушку, которая заставила бы улыбнуться его любимца. И все это делал как-то незаметно и покойно, без суеты и необыкновенно быстро, и при этом лицо его светилось выражением чего-то спокойного, уверенного и приветливого, что успокоительно действовало на больного.

И в эти дни сбылось то, о чем говорил в саду Шурка. Обезумевшая от горя и отчаяния мать, сама похудевшая от волнения и недосыпавшая ночей, только теперь начала узнавать этого «бесчувственного, грубого мужлана», невольно дивясь той нежности его натуры, которая обнаружилась в его неустанном уходе за больным и невольно заставила мать быть благодарной за сына.

В этот вечер ветер особенно сильно завывал в трубах. В море было очень свежо, и Марья Ивановна, подавленная горем, сидела в своей спальне... Каждый порыв ветра заставлял ее вздрагивать и вспоминать то о муже, который шел в эту ужасную погоду из Ревеля в Кронштадт, то о Шурке.



Доктор недавно ушел, серьезнее чем когда-либо. . .

— Надо ждать кризиса. . . Бог даст, мальчик вынесет. . . Давайте мускус и шампанское. . . Ваш денщик — отличная сиделка. . . Пуст он продежурит ночь около больного и дает ему, как приказано, а вам следует отдохнуть. . Завтра утром буду. . .

Эти слова доктора невольно восстают в памяти, и слезы льются из ее глаз. . . Она шепчет молитвы, крестится. . . Надежда сменяется отчаянием, отчаяние — надеждой.

Вся в слезах, она прошла в детскую и приблизилась к кроватке.

Федос тотчас же встал.

— Сиди, сиди, пожалуйста, — шепнула Лузгина и заглянула на Шурку.

Он был в забытьи и прерывисто дышал. . . Она приложила руку к его голове, — от нее так и пышало жаром.

— О, господи! — простонала молодая женщина, и слезы снова хлынули из ее глаз. . .

В слабо освещенной комнате царила тишина. Только слышалось дыхание Шурки, да порою доносился сквозь закрытые ставни заунывный стон ветра.

— Вы бы шли отдохнуть, барыня, — почти шопотом проговорил Федос: — не извольте сумлеваться. . . Я все справлю около Лександра Васильича. . .

— Ты сам не спал несколько ночей.

— Нам, матросам, дело привычное. . . И я даже вовсе спать не хочу. . . Шли бы, барыня! — мягко повторил он.

И, глядя с состраданием на отчаяние матери, он прибавил:

— И, осмелюсь вам доложить, барыня, не приходите в отчаянность. Барчук на поправку пойдет.

— Ты думаешь?

— Беспременно поправится! Зачем такому мальчику умирать? Ему жить надо.

Он произнес эти слова с такою уверенностью, что надежда снова оживила молодую женщину.

Она посидела еще несколько минут и поднялась.

— Какой ужасный ветер! — проронила она, когда снова с улицы донесся вой. — Как-то «Копчик» теперь в море? С ним не может ничего случиться? Как ты думаешь?

— «Копчик» и не такую штурму выдерживал, барыня. Небось, взял все рифы и знай покачивается себе, как бочонок. . . Будьте обнадежены, барыня. . . Слава богу, Василий Михайлович форменный командир. . .

— Ну, я пойду вздремнуть... Чуть что — разбуди.
— Слушаю-с. Покойной ночи, барыня!
— Спасибо тебе за все... за все! — прошептала с чувством Лузгина и, значительно успокоенная, вышла из комнаты.
А Чижик всю ночь бодрствовал, и когда на следующее утро Шурка, проснувшись, улыбнулся Чижику и сказал, что ему гораздо лучше и что он хочет чаю, Чижик широко перекрестился, поцеловал Шурку и отвернулся, чтобы скрыть подступающие радостные слезы.

На другой день вернулся Василий Михайлович.
Узнавши от жены и от доктора, что Шурку выходил главным образом Чижик, Лузгин, счастливый, что обожаемый сын его вне опасности, горячо благодарил матроса и предложил ему сто рублей.
— При отставке пригодятся, — прибавил он.
— Осмелюсь доложить, вашескобродие, что денег взять не могу! — проговорил несколько обиженно Чижик.
— Почему это?
— А потому, вашескобродие, что я не из-за денег за вашим сыном ходил, а любя...
— Я знаю, но все-таки, Чижик... Отчего не взять?
— Не извольте обижать меня, вашескобродие... Оставьте при себе ваши деньги.
— Что ты?.. Я и не думал тебя обижать!.. Как хочешь... Я тоже, брат, от чистого сердца тебе предлагал! — несколько сконфуженно проговорил Лузгин.
И, взглянув на Чижика, вдруг прибавил:
— И какой же ты, я тебе скажу, славный человек, Чижик!..

XIX

Федос благополучно пробыл у Лузгиных три года, пока Шурка не поступил в морской корпус, и пользовался общим уважением. С новым денщиком-поваром, поступившим вместо Ивана, он был в самых дружеских отношениях.
И вообще жилось ему три года недурно. Радостная весть об освобождении крестьян пронеслась по всей России... Повеяло новым духом, и сама Лузгина как-то подобрела и,

слушая восторженные речи мичманов, стала лучше обходиться с Анюткой, чтобы не прослыть ретроградкой.

Каждое воскресенье Федос отпрашивался гулять и после обедни шел в гости к приятелю-боцману и его жене, философствовал там и к вечеру возвращался домой, хотя и порядочно «треснувши», но, как он выражался, «в полном своем рассудке».

И госпожа Лузгина не сердилась, когда Федос, случалось, при ней говорил Шурке, отдавая ему непременно какой-нибудь гостинец:

— Ты не думай, Лександра Васильич, что я пьян... Не думай, голубок... Я все, как следует, могу справить...

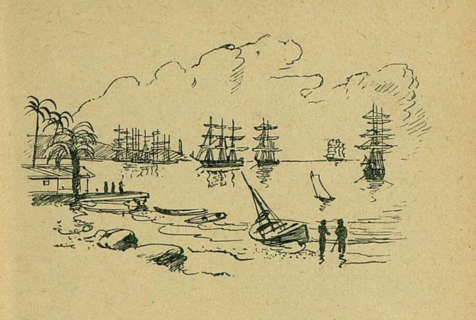
И словно бы в доказательство, что может, забирал сапоги и разное платье Шурки и усердно их чистил.

Когда Шурку определили в морской корпус, вышла и Федосу отставка. Он побывал в деревне, скоро вернулся и поступил сторожем в петербургском адмиралтействе. Раз в неделю он обязательно ходил к Шурке в корпус, а по воскресеньям навещал Анютку, которая после воли вышла замуж и жила в няньках.

Выйдя в офицеры, Шурка, по настоянию Чижика, взял его к себе. Чижик вместе с ним ходил в кругосветное плаванье, продолжал быть его нянькой и самым преданным другом. Потом, когда Александр Васильевич женился, Чижик нянчил его детей и семидесятилетним стариком умер у него в доме.

Память о Чижике свято хранится в семье Александра Васильевича. И сам он, с глубокою любовью вспоминая о нем, нередко говорит, что самым лучшим воспитателем его был Чижик.





КУЦЫЙ

I

В роскошное раннее тропическое утро на Сингапурском рейде, где собралась русская эскадра Тихого океана, плававшая в шестидесятых годах, новый старший офицер, барон фон-дер-Беринг, худощавый, долговязый и необыкновенно серьезный блондин лет тридцати пяти, в первый раз обходил, в сопровождении старшего боцмана Гордеева, корвет «Могучий», заглядывая во все самые сокровенные его закоулки. Барон только вчера вечером перебрался на «Могучий», переведенный с клипера «Голубь» по распоряжению адмирала, и теперь знакомился с судном.

Несмотря на желание педантичного барона, в качестве «новой метлы», к чему-нибудь да придраться, это оказалось решительно невозможным. «Могучий», находившийся в кругосветном плавании уже два года, содержался в образцовом порядке и сиял сверху донизу умопомрачающей чистотой. Недаром же прежний старший офицер, милейший Степан Степанович, назначенный командиром одного из клиперов,— любимый и офицерами, и матросами, — клал всю свою доб-

рую, бесхитростную душу на то, чтобы «Могучий» был, как выражался Степан Степанович, «игрушкой», которой мог бы любоваться всякий понимающий дело моряк.

И, действительно, «Могучим» любовались во всех портах, которые он посещал.

Обходя медлительной, несколько развалистой походкой нижнюю жилую палубу, барон Беринг вдруг остановился на кубрике и вытянул свой длинный белый указательный палец, на котором блестел перстень с фамильным гербом старинного рода курляндских баронов Беринг. Палец этот указывал на лохматого крупного рыжего пса, сладко дремавшего, вытянув свою неказистую, далеко не породистую морду, в укромном и прохладном уголке матросского помещения.

— Это что такое? — внушительно и строго спросил барон после секунды-другой торжественного молчания.

— Собака, ваше благородие! — поспешил ответить боцман, подумавший, что старший офицер не разглядел в полутемноте кубрика собаки и принял ее за что-нибудь другое.

— Ду-рак! — спокойно, не повышая голоса, отчеканил барон. — Я сам вижу, что это собака, а не швабра. Я спрашиваю: почему собака здесь? Разве можно на военном судне держать собак! Чья это собака?

— Конвертская, ваше благородие.

— Боцман... Как твоя фамилия?

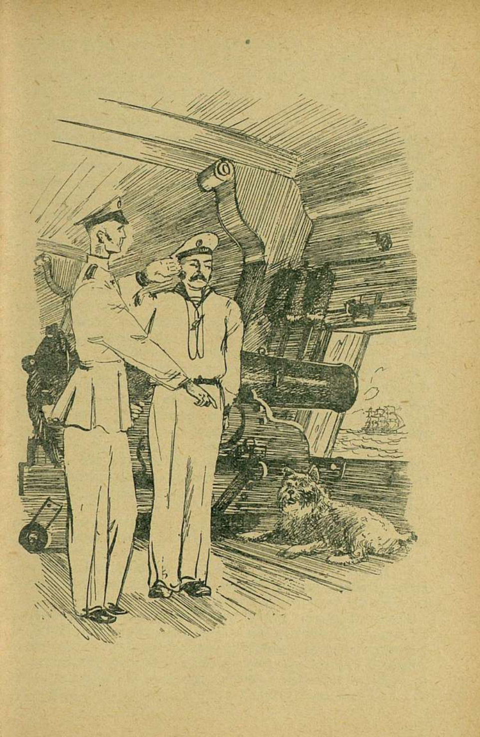
— Гордеев, ваше благородие!

— Боцман Гордеев! Выражайся яснее; я тебя не понимаю. Что значит: корветская собака? — продолжал барон все тем же медленным, тихим и нудящим голосом, произнося слова с тою отчетливостью, с какою говорят русские немцы, и останавливая на лице боцмана свои большие, светлые и холодные голубые глаза.

Пожилой боцман, которого до сих пор все, кажется, отлично понимали, за исключением разве тех случаев, когда он, случалось, возвращался с берега пьяный вдрызг, недоумевая смотрел в бесстрастное, белое, отливавшее румянцем, безусое, продолговатое лицо, опушенное рыжеватыми бакенбардами в виде котлет, и, видимо, удрученный этим назойливым допросом, вместо ответа, ожесточенно заморгал своими маленькими серыми глазами.

— Так какая же это корветская собака?

— Матросская, значит, обчая, ваше благородие! — объ-



яснил с угрюмым видом боцман и в то же время сердито подумал: «Не понимаешь, что ли, долговязый!»

Но «долговязый», казалось, не понимал и сказал:

— Что ты мне вздор рассказываешь!.. У каждой собаки должен быть хозяин.

— То-то у ей нет, ваше благородие. Она приблудная.

— Какая? — переспросил барон, видимо, не зная значения этого слова.

— Приблудная, ваше благородие. В Кронштадте увязалась за одним нашим матросиком и явилась на конверт, когда он вооружался в гавани. С той поры Куцый и ходит с нами. Так его назвали по причине хвоста, ваше благородие! — прибавил, в виде пояснения, боцман.

— Собака на военном судне — беспорядок. Они только гадят палубу.

— Осмелюсь доложить, ваше благородие, что Куцый собака понятливая и ведет себя, как следовает. За ей насчет этого ничего дурного не замечено! — вступился боцман за Куцего. — Прежний старший офицер Степан Степаныч дозволяли ее держать, потому как Куцый, можно сказать, исправная собака, и команда ее любит.

— Слишком много вам позволяли прежде, как посмотрю, и распустили. Я вас всех подтяну, слышишь? — строго заметил барон, которому объяснения боцмана показались несколько фамильярными, и сам он, казалось, не особенно трепетал перед старшим офицером.

— Слушаю, ваше благородие.

Барон на секунду задумался и наморщил лоб, решая в своем уме участь Куцего. И боцман, весьма благоволивший к Куцему, со страхом ждал этого решения.

Наконец старший офицер проговорил:

— Если я когда-нибудь замечу, что эта собака изгадит мне палубу, я прикажу ее выкинуть за борт. Понял?

— Понял, ваше благородие!

— И помни, что я два раза не повторяю своих приказаний, — внушительно прибавил барон, попрежнему не возвышая своего скрипучего, однотонного голоса.

Боцман Гордеев, старый служака, видавший на своем веку немало разного начальства и умевший понимать людей, и без этого предупреждения уже сообразил, что этот «долговязый», даром что говорит тихо, без пыла, а такая «чума», с которой всем служить будет очень «нудно», не то, что со Степаном Степанычем.

Услыхав несколько раз свою кличку, Куцый потянулся, открывая глаза, лениво поднялся, сделал несколько шагов, выходя из темного угла поближе к свету, и, как смышленый, понимающий дисциплину пес, при виде незнакомого человека в офицерской форме, почтительно вильнул несколько раз своим обрубком.

— Фуй, какая отвратительная собака! — брезгливо процедил барон, кидая взгляд, полный презрения, на невзрачную и неуклюжую большую дворнягу с жесткой, всклокоченной рыжей шерстью, обгрызенными, стоящими торчком ушами и широкой мордой, местами покрытой плешинами, словно изъеденной молью.

Только необыкновенно умные и добрые глаза Куцего, пристально оглядывавшие барона, несколько скрашивали его уродливую наружность. Но этих глаз барон, верно, не заметил.

— Чтоб я не встречал никогда этой мерзкой собаки! — проговорил барон.

И с этими словами он повернулся и поднялся наверх, сопровождаемый удрученным и нахмурившимся боцманом.

Поджав свой обрубок — следы злой шутки одного кронштадтского повара, Куцый побрел, прихрамывая на одну, давно сломанную, переднюю лапу, в свой темный уголок, чуя, надо думать, что не имел счастья понравиться этому долговязому человеку с рыжими баками и со злым взглядом, который не предвещал ничего хорошего.

Один матрос, слышавший слова старшего офицера, ласково потрепал общего корветского любимца, который в ответ благодарно вылизывал шершавую матросскую руку.

II

Испытывая чувство тоскливого угнетения, обычное в простом русском человеке, которого донимают нотациями и «жалкими» словами, боцман еще целую четверть часа, если не более, выслушивал, стоя навытяжке в каюте барона и теребя в нетерпении фуражку, его длинные, обстоятельные и монотонные наставления о том, какие отныне будут порядки на корвете, чего он будет требовать от боцманов и унтер-офицеров, как должны вести себя матросы, что такое, по

понятиям барона, настоящая дисциплина и как он будет беспощадно взыскивать за пьянство на берегу.

Отпущенный наконец из каюты с напутствием «хорошо запомнить все, что сказано, и передать кому следует», боцман радостно вздохнул и, весь красный, словно после бани, выскочил наверх и пошел на бак выкурить поскорей трубочку махорки.

Там его тотчас же обступили почти все представители баковой аристократии: фельдшер, баталер, подшкипер, машинист, два писаря и несколько унтер-офицеров.

— Ну что, Аким Захарыч, каков старший офицер? Как он вам показался? — спрашивали боцмана со всех сторон.

Боцман в ответ только безнадежно махнул своей волосатой, красной и жилистой рукой и сердито плюнул в кадку.

И этот жест, и энергичный плевок, и раздраженное выражение загорелого, красно-бурого лица боцмана, опушенного черными с проседью бакенбардами, с красным, похожим на картофелину носом и с нахмуренными бровями, словом, все, казалось, говорило: «Дескать, лучше и не спрашивайте!»

— Сердитый? — спросил кто-то.

Но боцман не тотчас ответил. Он сделал сперва две-три отчаянные затяжки, сплюнул опять и, значительно оглядев всех слушателей, жаждавших услышать оценку такого умного и авторитетного человека, наконец выпалил, несколько понижая, однако, свой зычный голос, стяжавший горлу боцмана репутацию «медной глотки»:

— Прямо сказать: чума турецкая!

Столь убежденная и решительная оценка произвела на присутствующих весьма сильное впечатление. Еще бы! После двухлетнего плавания с старшим офицером, который, по выражению матросов, был «добер» и «жалел» людей, не обременяя их непосильными работами и учениями, дрался редко — и то с пыла, а не от жестокости — и снисходительно относился к матросской слабости «нахлестаться» на берегу, иметь дело с «чумой» показалось очень непривлекательным. Не мудрено, что все лица внезапно сделались серьезными и задумчивыми.

С минуту длилось сосредоточенное и напряженное молчание.

— В каких, однако, смыслах *он* чума, Аким Захарыч? — заговорил молодой, курчавый фельдшер, которому, по его

должности, предстояло менее других опасности иметь столкновения с старшим офицером. Знай себе доктора да лазарет — и шабаш!

— Во всяких смыслах, братец ты мой, чума! То есть вовсе нудный человек. Зудит, как пила, и никакой не дает тебе передышки, немчура долговязая! Сейчас вот в каюте донимал. Глядит это на меня рыбьим глазом, а сам: зу-зу-зу, зу-зу-зу, — передразнил барона боцман. — Я, говорит, вас всех подтяну. У меня, говорит, новые порядки станут. Я, говорит, за береговое пьянство буду взыскивать во всей строгости... Одно слово, зудил без конца... Совсем в тоску привел.

— Унтерцер, что вчерась на катере с «Голубя» привез нового старшего офицера, тоже его не хвалил. Сказывал, что характерный и упрямый и всех на клипере разговором нудил, — вставил один из унтер-офицеров. — На «Голубе» все рады, что он ушел, потому приставал, ровно смола... А драться, сказывали, не дерется и не порет, но только наказывает по-своему: на ванты босыми ногами ставит, на ноки на высидку посылает. Сказывал — очень придирчив и много о себе полагает этот самый... как его по фамилии?..

— Берников, что ли, — ответил боцман, переделывая немецкую фамилию на русский лад. — Из немецких баронов. А о себе он напрасно полагает, потому полагать-то ему нечего! — авторитетно прибавил боцман.

— А что?

— А то, что в ем большого рассудка не заметно. Это по всем его словам оказывает. И на понятие туг. Давеча, я вам скажу, не мог взять вдомек, что Куцый конвертская собака... Какая, говорит, конвертская? Непременно ему хозяина подавай...

— Из-за чего у вас о собаке-то разговор вышел? — спросил кто-то.

— А вот поди ж ты! Не понравился ему наш Куцый, и шабаш! Нельзя, говорит, на судне держать собаку. И грозился, что прикажет выкинуть Куцего за борт, если он нагадит на палубе... И чтобы я, говорит, его не встречал!

— И что ему Куцый? Мешает, что ли?

— То-то все ему мешает, анафеме. И животную бессловесную, и тую притеснил... Да, братцы, послал нам господь цацу, нечего сказать... Другое житье пойдет. Не раз

вспомним Степан Степаныча, дай бог ему, голубчику, здоровья! — промолвил боцман и, выбив трубочку, опустил ее в карман своих штанов.

— Капитан-то наш ему большого хода не даст, я так полагаю, — заметил молодой фельдшер. — Не допустит очень-то безобразничать. Шалишь, брат! Не те нонче права... Вот теперь мужикам волю дают, и всем права будут, чтобы по закону...

— Не досмотреть-то всего капитану. Главная причина, что старший офицер ближе всего до нас касается! — возразил боцман.

— Можно и до капитана дойти в случае чего. «Так, мол, и так!» — хорохорился фельдшер.

— Прыток больно! А ты рассуди, что и капитану, стало быть, быдто зазорно против своего же брата итти и срамить его, скажем, из-за какого-нибудь унтерцера. В этом самая загвоздка и есть! Нет, братец ты мой, поодиночке жаловаться не порядок, только зря начальство расстроишь, а толку не будет — тебе же попадет! Встарину бывала другая правила! — прибавил боцман, строго охранявший прежние традиции, так сказать, обычного матросского права.

— Какая, Аким Захарыч?

— А такая, что ежели, примерно, безо всякого, можно сказать, рассудка изматывали нашего брата, матроса, и вовсе уже не ставало терпения, значит, от тиранства, тогда команда шла на отчаянность: выстроится, как следует, во фрунт и через боцманов объявит командиру претензию.

— И что ж — выходил толк?

— Глядя по человеку. Иной, вместо разборки, велит перепороть половину команды, ну а другой выслушает и рассудит по совести. Помню, раз на смотру — я еще тогда первый год служил — объявили мы адмиралу Чаплыгину претензию на командира Занозова — форменный зверь был! — так, вместо разборки дела, у нас на корабле, братец ты мой, целый день порка была... Так стон и стоял, и мне сто линьков всыпали — вот тебе и вся претензия! Опять же в другой раз тоже объявили мы претензию капитану Чулкову — теперь он в адмиралы вышел — на старшего офицера. Так совсем другой сборот. Выслушал это Чулков, насупившись, грозный такой, однако обещал по форме рассудить...

— Ну и что же? Рассудил?

— Рассудил. Через неделю старший офицер списался с фрегата, быдто по болезни, и мы вздохнули... И ничего нам не было... Вот, братец ты мой, какие дела бывали... Известно, шли на фарт...

— Ну, наш командир, небось, не даст команды в обиду!

— На капитана одна надежда, а все-таки не доглядеть ему за всем. Зазудит нас «долговязая немца»!

Еще несколько времени продолжались толки о новом старшем офицере. Все решили пока что ждать поступков. Может, он и испугается капитана и не станет менять порядков, заведенных Степан Степанычем. Эти соображения несколько успокоили собравшихся. И тогда молодой писарек из кантонистов, отчаянный франт, с аметистовым перстеньком на мизинце, спросил:

— А как же теперь насчет берега будет, Аким Захарыч? Отпустит он нас на Сингапур посмотреть?

— Об этом разговору не было.

— Так вы доложили бы старшему офицеру, Аким Захарыч.

— Ужо доложу.

— Всякому лестно, я думаю, погулять на берегу. Здесь, говорят, в Сингапуре очень даже любопытно... И насчет красы природы, и насчет ресторантов... И лавки, говорят, хорошие... Уж вы доложите, Аким Захарыч, а то неизвестно еще, сколько простоим, того и гляди без удовольствия останемся.

В эту минуту на бак со всех ног прибежал молодой вестовой Ошурков и сказал боцману:

— Аким Захарыч! Вас старший офицер требует.

— Что ему еще?

— Не могу знать. У себя в каюте сидит и какие-то бумаги перебирает...

— Опять зудить начнет! Эка...

И, выпустив звучную ругань, боцман побежал к старшему офицеру.

— А ты у нового старшего офицера остаешься, Вань, вестовым? — спрашивали на баке у Ошуркова.

— То-то остаюсь. Ничего не поделаешь... Придется с им терпеть... По всему видно, что занозу мне бог послал заместо Степан Степаныча. Уж он мне зудил насчет евойных, значит, порядков... Чтобы, говорит, как машина, все сполнял!

III

Ненависть нового старшего офицера к Куцему и его угроза выбросить матросскую собаку за борт были встречены общим глухим ропотом команды. Все, казалось, удивлялись этой бессмысленной жестокости — лишить матросов их любимца, который в течение двух лет плавания доставлял им столько развлечений среди однообразия и скуки судовой жизни и был таким добрым, ласковым и благодарным псом, платившим искренней привязанностью за доброе к нему отношение людей, которое он наконец нашел после нескольких лет бродяжнической и полной невзгод жизни на улицах Кронштадта.

Смышленый и переимчивый, быстро усвоивавший разные предметы матросского преподавания, каких только штук не проделывал этот смешной и некрасивый Куцый, вызывая общий смех матросов и удивляя их своею, действительно, необыкновенной понятливостью! И сколько удовольствия и утехи доставлял он нетребовательным морякам, заставляя хоть на время забывать и тяжелую морскую жизнь на длинных океанских переходах и долгую разлуку с родиной! Он ходил на задних лапах с самым серьезным выражением на своей умной морде, носил поноску, лазил на ванты и стоял там, пока ему не кричали: «С марсов долой», сердито скалил зубы и ворчал, если его спрашивали: «Куцый, хочешь, брат, линьков?» и, напротив, строил радостную гримасу, виляя весело обрубком, когда ему говорили: «Хочешь на берег?» Когда раздавался свисток и вслед за тем окрик боцмана: «Пошел все наверх», Куцый вместе с подвахтенными летел стремглав наверх, какая бы ни была погода, и дожидался на баке, пока не свистали: «Подвахтенных вниз!» А во время шторма он почти всегда бывал наверху и развлекал вахтенных во время их тяжелых вахт. Когда свистали к водке, Куцый вместе с матросами присутствовал при раздаче и затем во время обеда обходил на задних лапах сидящих по артелям матросов, отовсюду получая щедрые подачки, и весело брехал в знак благодарности.

После обеда, когда подвахтенные отдыхали, Куцый неизменно ложился у ног Кочнева, пожилого и угрюмого бакового матроса, горького пьяницы, к которому питал необыкновенно нежные чувства и выказывал трогательную преданность. Он глядел матросу, что называется, в глаза и всегда почти вертелся около него, видимо, несказанно до-

вольный, когда Кочнев погладит его. Во время ночных вахт Куцый обязательно бывал при Кочневе, и, когда тот сидел на носу, на часах, обязанный «смотреть вперед», — Куцый нередко исполнял, вместо своего приятеля, обязанности часового. Он добросовестно мок под дождем, продуваемый насквозь свежим ветром, и, насторожив изгрызенные уши, зорко всматривался вперед, в темноту ночи, предоставляя матросу, закутанному в дождевик и согретому шерстью собаки, слегка вздремнуть, поклевывая носом. Завидев огонь встречного судна или внезапно выросший силуэт «купца», не носящего по беспечности огней, Куцый громко лаял и будил задремавшего часового. На берег Куцый всегда съезжал с Кочневым, шел с ним до ближайшего кабака и, отлучившись на часок, чтобы взглянуть на береговых собак, возвращался, иногда изгрызенный, к своему другу и уже не выпускал его из глаз. Он внимательно и с видимым сочувствием слушал пьяные монологи матроса, подавал реплики виляньем обрубка или ласковым визгом, если пьяный Кочнев вел с ним беседу на какие-нибудь, должно быть, невеселые темы, и сторожил матроса, когда тот валялся на улице в бесчувственном состоянии, пока не подходили товарищи и не подбирали его. Одним словом, Куцый выказывал истинно-собачью привязанность к тому человеку, который доставил ему, гонимому бродяге, каждое утро рисковавшему попасть на аркан фурманщика, спокойный приют на корвете и сытую, приятную жизнь среди добрых людей, выразивших бродяге с первого же дня его появления на корвете самое милое и любезное внимание, которого он уже давно не видал.

В свою очередь, и угрюмый, мало общительный матрос был сильно привязан к своему найденышу, оказавшему такие блистательные способности, не говоря уже о прекрасных нравственных качествах, и , кажется, только с ним одним и вел под пьяную руку длинные интимные беседы. Он рассказывал Куцему о том, как он неправильно, из-за одного «подлого человека», был сдан в матросы, и о своей жене, которая живет вроде быдто «форменной барыни», и о дочери, которая знать его не хочет. . . И Куцый, казалось, понимал, что этот угрюмый матрос, пивший джин стаканчик за стаканчиком в каком-нибудь иностранном кабачке, рассказывает невеселые вещи.

Знакомство с Куцым произошло совершенно случайно. Это было в Кронштадте в один ненастный и холодный воскрес-

ный день, после обеда, дня за три до отхода «Могучего» в кругосветное плавание. Порядочно «треснувши» и выписывая ногами самые затейливые вензеля, Кочнев возвращался из кабака на корвет, стоявший в военной гавани, как где-то в переулке заметил собаку, угрюмо прижавшуюся к водосточной трубе и вздрагивающую от холода. Жалкий вид этой намокшей, с выдающимися ребрами, видимо, бесприютной собаки, и притом самой неказистой наружности, обличавшей бродягу, тронул пьяненького матроса.

— Ты, брат, чей будешь?.. Видно, бездомный пес, а? — проговорил он заплетающимся языком, останавливаясь около собаки.

Собака подозрительно взглянула своими умными глазами на матроса, точно соображая: дать ли ей немедленно тягу, или выждать, не уйдет ли этот человек? Но несколько дальнейших слов, произнесенных ласковым тоном, видимо, успокоили ее насчет его недобрых намерений, и она жалобно завыла. Матрос подошел еще ближе и погладил ее; она лизнула ему руку, видимо, тронутая лаской, и завыла еще сильней.

Тогда Кочнев стал шарить у себя в карманах. Этот жест возбудил в собаке жадное внимание.

— Голоден, небось, бедный! — говорил матрос. — А ты потерпи... Вот и нашел, на твое счастье! — прибавил он, вынимая наконец из штанов медную монетку.

Он зашел в мелочную лавочку и через минуту бросил собаке куски черного хлеба и отрезки рубцов, купленных им на свои не пропитые еще две копейки.

Собака с алчностью бросилась на пищу и в несколько секунд сожрала все и снова вопросительно смотрела на матроса.

— Ну, валим на конверт... Там тебя накормят доотвалу, коли ты такой голодный... Матросы — добрые ребята... Не бойся! И переночуешь на конверте, а то что за радость мокнуть на дожде... Идем, собака!

Он ласково свистнул. Собака двинулась за ним и не без некоторого смущения вошла по сходням на корвет и вслед за матросом очутилась на баке среди толпы людей, испуганная и будто сконфуженная своим непривлекательным видом.

— Бродягу, братцы, нашел! — проговорил Кочнев, указывая на собаку.

Несчастный ее вид возбудил жалость в матросах. Ее ста-

ли гладить и повели вниз кормить. Скоро она, наевшись досыта, заснула недалеко от камбуза (кухни) и, не веря своему счастью, часто тревожно просыпалась во сне.

Наутро, разбуженная чисткой верхней палубы, собака испуганно озиралась, но Кочнев значительно успокоил ее, поставив перед ней чашку с жидкой кашицей, которой завтракали матросы.

Спустя несколько времени, когда палуба была вымыта, Кочнев вывел ее наверх, на бак, и предложил матросам оставить ее на корвете.

— Пущай плавает с нами.

Предложение было принято с полным сочувствием. Обратились к боцману с просьбой испросить разрешение старшего офицера, и, когда разрешение было получено, на баке поднялся вопрос, какую дать этому псу кличку.

Все посматривали на весьма неказистую собаку, которая, в ответ на ласковые взгляды, повиливала обрубком хвоста и благодарно лизала руки матросов, которые гладили ее.

— Окромя как Куцым, никак его не назвать! — предложил кто-то.

Кличка понравилась. И с той же минуты Куцый был принят в число экипажа «Могучего».

Первоначальным воспитанием его занялся Кочнев и выказал блестящие педагогические способности. Через неделю уже Куцый понял неприкосновенность сверкавшей белизной палубы и строгость моряков относительно чистоты и сделался исправной собакой. В первую же трепку в Балтийском море он обнаружил и свои морские качества. Его нисколько не укачивало, он ел с таким же аппетитом, как и в тихую погоду, и не выказывал ни малейшего малодушия при виде громадных волн, разбивающихся о бока корвета. Вскоре смышленый и ласковый Куцый сделался общим любимцем и забавлял матросов своими штуками.

И такого-то славного пса грозили выкинуть за борт!

Весть об этом взволновала едва ли не более всех Кочнева, и он решил принять все меры, чтобы этот «долговязый дьявол» не встречал Куцего. И в тот же день, когда Куцый с веселым, беззаботным видом выскочил наверх, как только что просвистали к водке, Кочнев отвел его вниз и, указав место в самом темном уголке кубрика, проговорил:

— Сиди, Куцый, здесь смирно, а то беда! Ужо я принесу тебе пообедать!

Прошел месяц.

За это время матросы достаточно присмотрелись к новому старшему офицеру и невзлюбили его. Он, правда, до сих пор никого не наказал линьками, никого не ударил и вообще не обнаруживал жестокости, и тем не менее барона ненавидели за его придирчивость, мелочность, за то, что он приставал, «как смола», «зудил» провинившегося в чем-нибудь матроса без конца и затем наказывал самым чувствительным образом: оставлял виновного «без берега», лишая таким образом матроса единственного удовольствия дальних плаваний. А то ставил на ванты или посылал на «высидку» на нок и — что казалось матросам еще обиднее — оставлял без чарки водки, столь любимой моряками.

Барона ненавидели и боялись и за эти наказания, и за его бессердечный педантизм, не оставлявший без внимания ни малейшего отступления от расписания судовой жизни. Все чувствовали над собой гнет какой-то бездушной, упрямой машины и, главное, понимали, что в душе барон презирает матроса и смотрит на него исключительно как на рабочую силу. Никогда ни доброго слова, ни шутки! Всегда один и тот же ровный и спокойный, скрипучий голос, в котором чуткое ухо слышало высокомерно-презрительную нотку. Всегда этот жесткий взгляд голубых бесстрастных глаз!

Не пользовался он и уважением, как моряк. На баке, этом матросском клубе, где даются меткие оценки офицерам, находили, что он далеко не «орел», каким был Степан Степаныч, а мокрая курица, выказавшая трусость во время шторма, прихватившего корвет по выходе из Сингапура. И дело он, по мнению старых матросов, понимал не до тонкости, хотя и всюду совал свой нос. И «башковатости» в нем было немного, а только одно упрямство. Одним словом, барона терпеть не могли и иначе не звали, как «Чортовой Зудой». Всякий опасался его наставлений, словно чумы.

Вначале барон вздумал было изменить порядки на корвете и, вместо прежних недолгих ежедневных учений, стал «закатывать» учения часа по три подряд, утомляя матросов, и без того утомленных шестичасовыми вахтами на ходу. Но спасибо капитану: он скоро умерил усердие старшего офицера.

И об этом юркий капитанский вестовой Егорка рассказывал на баке так:

— Призвал он этто, братцы, Чортову Зуду к себе и говорит: «Вы, — говорит, — Карла Фернандыч, напрасно новые порядки заводите и людей зря мучаете учениями. Пусть, — говорит, — по-старому остается».

— Что ж на это Зуда?

— Покраснел весь, ровно рак вареный, Зуда проклятая и в ответ: «Слушаю-с, — говорит, — но только я полагал, что как для пользы службы. . .» — «Извините, господин барон, — это ему капитан вперебой, — я, — говорит, — и без вас понимаю, какая, — говорит, — польза службы есть. . . И польза, — говорит, — службы требовает, чтобы матросов зря не нудили. Ему, — говорит, — матросу, и без ученьев есть дела много, вахту справлять, и у нас, — говорит, — матросы лихо работают и молодцы, — говорит. — Так уж вы о пользе службы не извольте очинно беспокоиться. . . А затем, — говорит, — я больше ничего не желаю вам сказать. . .» Так, чорт долговязый, и ушел ошпаренный! — заключил Егорка, к общему удовольствию собравшихся матросов.

Вообще барон фон-дер-Беринг пришелся как-то «не ко двору» со своими новыми порядками и взглядами на дисциплину. В кают-компании нового старшего офицера тоже невзлюбили, особенно молодежь, вся пропитанная новыми веяниями шестидесятых годов и жаждавшая приложить их к делу гуманным обращением с матросами. Чем-то старым, архаическим веяло от взглядов барона, завзятого крепостника и консерватора. Безусловно честный и убежденный, не скрывавший своих, как он говорил, «священных принципов», всегда несколько напыщенный и самолюбивый, прилизанный и до тошноты аккуратный, барон возбуждал неприязнь в веселых молодых офицерах, которые считали его ограниченным, тупым педантом и сухим человеком, мнившим себя непогрешимым и глядевшим на всех с высоты своего курляндского баронства. Не нравился он и «париям» флотской службы: штурману, артиллеристу и механику. И без того обидчивые и мнительные, они отлично чувствовали в его изысканно-вежливом обращении снисходительное презрение завзятого барона, сознающего свое превосходство.

Не пришелся по вкусу новый старший офицер и капитану. Он не очень-то был благодарен адмиралу, наградивше-

му его такой «немецкой колбасой», и не догадывался, конечно, что хитрый адмирал нарочно назначил барона старшим офицером именно к нему, на «Могучий», уверенный, что командир «Могучего» скоро «сплавит» барона и адмирал, таким образом, «умоет руки» и отошлет его с эскадры в Россию.

В кают-компании почти никто не разговаривал с бароном, исключая служебных дел, и он был каким-то чужим в дружной семье офицеров «Могучего». Только мичмана подчас не отказывали себе в удовольствии подразнить барона, громя крепостников и консерваторов, не понимающих значения великих реформ, и расхваливая, в присутствии барона, Степана Степановича. «Вот-то приятно было с ним служить! Вот-то был знающий и дельный старший офицер и добрый товарищ! И как его любили матросы, и как он сам понимал матроса и любил его! И как они для него старались».

— Его даже и Куцый любил! — восклицал курчавый белокурый мичман Кошутич, особенно любивший «травить» эту «немецкую аристократическую дубину». — А Куцего что-то не видать нынче наверху, господа... Прячется, бедная собака. Что бы это значило, а? — прибавлял нарочно мичман, знавший об угрозе старшего офицера.

Барон только надувался, словно индюк, не обращая, повидимому, никакого внимания на все эти шпильки, и с тупым упрямством ограниченного человека не изменял своего поведения и как будто игнорировал общую к себе нелюбовь.

В течение этого месяца Куцый, действительно, не показывался на глаза старшего офицера, хоть сам и увидал его еще раз издали, причем Кочнев, указавший на барона, проговорил: «Берегись его, Куцый!» и проговорил таким страшным голосом, что Куцый присел на задние лапы. Прежняя привольная жизнь Куцего изменилась. По утрам, во время обычных обходов старшего офицера, Куцый скрывался где-нибудь в уголке трюма или кочегарной, указанном ему Кочневым, который немало употреблял усилий, чтоб приучить собаку сидеть, не шелохнувшись, в темном уголке. И во время авралов уж Куцый не выбегал наверх. Благодаря урокам своего наставника довольно было проговорить: «Зуда идет», чтобы Куцый, поджав свой обрубок, стремительно улепетывал вниз и забивался куда-нибудь в самое сокровенное местечко, откуда выходил только тогда, когда раздавался в люк

успокоительный свист какого-нибудь матроса. На верхнюю палубу Куцего выводили матросы в то время, когда барон обедал или спал, и в эти часы забавлялись попрежнему забавными штуками умной собаки. «Не бойся, Куцый, — успокаивали его матросы: — Зуды нет». И матросы, оберегая своего любимца, ставили часовых, когда Куцый бывало давал свои представления на баке. Только по ночам, особенно по темным, безлунным тропическим ночам, выспавшийся за день Куцый свободно разгуливал по баку и дружелюбно вертелся около матросов, но уже не дежурил с Кочневым на часах, не смотрел вперед и не лаял, как прежде, при виде огонька. Кочнев его не брал с собою, оберегая своего фаворита от гнева «Чортовой Зуды», которого угрюмый матрос ненавидел, казалось, больше, чем другие.

Но, несмотря на все эти предосторожности, над бедным Куцым в скором времени разразилась гроза.

V

Был знойный, палящий день в Китайском море. На голубом небе — ни облачка, и на море стоял мертвый штиль. Еще с рассвета наступило безветрие, паруса лениво повисли, и капитан приказал развести пары. Скоро загудели пары, и «Могучий», убрав паруса, пошел полным ходом, взявши курс на Нагасаки.

Старший офицер, особенно заботившийся о том, чтобы «Могучий» пришел в Нагасаки, где адмирал назначил «рандеву», в щегольском виде, уже в третий раз обходил сегодня корвет, придираясь ко всем и донимая всех своими нотациями. Он, видимо, был не в духе, хотя все было в идеальном порядке, все наверху горело и сияло под блестящими лучами ослепительного, жгучего солнца, повисшего, словно раскаленный шар, над заштилевшим морем. Барон только что имел снова не особенно приятное объяснение с капитаном и считал себя несколько обиженным. В самом деле, все его предположения, направленные, как он был уверен, к пользе службы, систематически отвергались этим «бесхарактерным» человеком», как презрительно называл барон капитана, и отношения их с каждым днем все делались суше и суше. Вдобавок и эти мичмана то и дело подпускали ему всякие шпильки, но так, что не было никакой возможности сделать им замечания. И барон, озлобленный

и надутый, высокомерно думал о том, как трудно служить порядочному человеку с этими глупыми русскими «демократами», не понимающими настоящей дисциплины и готовыми подрывать престиж власти.

Спустившись в жилую палубу и занятый своими размышлениями, он без обычного внимания заглядывал во все уголки, приближаясь к кубрику, как вдруг мимо его ног стремглав пронесся Куцый и выбежал наверх.

— Мерзкая собака! — проговорил барон, несколько испуганный неожиданным появлением Куцего, и, остановившись, невольно взглянул на место, по которому тот пробежал.

И в то же мгновение взгляд барона впился в одну точку палубы, как раз под люком трапа, ведущего на бак, и на лице его появилась брезгливая гримаса.

— Боцмана послать! — крикнул барон.

Через несколько минут явился боцман Гордеев.

— Это что такое? — медленно процедил барон, указывая пальцем на палубу.

Боцман взглянул по направлению длинного белого пальца с перстнем и смутился.

— Что это такое, спрашиваю я тебя, Гордеев?

— Сами изволите видеть, ваше благородие...

И боцман угрюмо назвал, что это такое.

Барон выдержал паузу и сказал:

— Ты помнишь, что я тебе говорил?

— Помню, ваше благородие! — еще угрюмей отвечал боцман.

— Так чтобы через пять минут эта паршивая собака была за бортом!

— Осмелюсь доложить, ваше благородие, — заговорил боцман самым почтительным тоном, полным мольбы, — что собака нездорова... И фершал ее осматривал, говорит: брюхом больна, но только скоро на поправку пойдет... В здоровом, значит, виде Куцый никогда бы не осмелился, ваше благородие!.. Простите, ваше благородие, Куцего! — промолвил боцман дрогнувшим голосом.

— Гордеев! Я не имею привычки повторять приказаний... Мало ли какого вы мне наврете вздора... Через пять минут явись ко мне и доложи, что приказание мое исполнено... Да выскоблить здесь палубу! — прибавил барон.

С этими словами он повернулся и ушел.

— У, идол! — злобно прошептал вслед барону боцман.

Он поднялся наверх и взволнованно проговорил, подхо-

дя к Кочневу, который поджидал Куцего, чтоб увести его вниз.

— Ну, брат, беда... Сейчас Чортова Зуда увидал внизу, что Куцый нагадил, и...

Боцман не окончил и только угрюмо качнул головой.

Кочнев понял, в чем дело, и внезапно изменился в лице. Мускулы на нем дрогнули. Несколько секунд он стоял в каком-то суровом, безмолвном отчаянии.

— Ничего не поделаешь с этим подлецом! А уж как жалко собаки! — прибавил боцман.

— Захарыч! .. Захарыч! .. — заговорил наконец матрос умоляющим, прерывающимся голосом. — Да ведь Куцый больной... Рази можно с больной собаки требовать? Уж, значит, вовсе брюхо прихватило, ежели он решился на это... Он умный... Понимает... Никогда с им этого не было... И то сколько раз выбегал сегодня наверх... Захарыч, будь отец родной! .. Доложи ты этому дьяволу!

— Нешто я ему не докладывал? Уж как просил за Куцего. Никакого внимания. Чтобы, говорит, через пять минут Куцый был за бортом!

— Захарыч! .. Сходи еще...попроси... Собака, мол, больна...

— Что ж, я пойду... Только вряд ли... Зверь! .. — промолвил боцман и пошел к старшему офицеру.

В это время Куцый, невеселый по случаю болезни, осунувшийся, с мутными глазами, с сконфуженным видом, словно чувствуя свою виновность, подошел к Кочневу и лизнул ему руку. Тот с какою-то порывистою ласковостью гладил собаку, и угрюмое его лицо светилось необыкновенною нежностью.

Через минуту боцман вернулся. Мрачный его вид ясно говорил, что попытка его не увенчалась успехом.

— Разжаловать грозил! .. — промолвил сердито боцман.

— Братцы! .. — воскликнул тогда Кочнев, обращаясь к собравшимся на баке матросам. — Слышали, что злодей выдумал? Какие его такие права, чтобы топить конвертскую собаку? Где такое положенье?

Лицо угрюмого матроса было возбуждено. Глаза его сверкали.

Среди матросов поднялся ропот. Послышались голоса:

— Это он над нами куражится, Зуда проклятая!

— Не смеет, чума турецкая!

— За что топить животную!

— Так вызволим, братцы, Куцего! Дойдем до капитана! Он добер, он рассудит! Он не дозволит! — взволнованно и страстно говорил угрюмый матрос, не отпуская от себя Куцего, словно бы боясь с ним разлучиться.

— Дойдем! — раздались одобрительные голоса.

— Аким Захарыч! Станови нас во фрунт, всю команду.

Дело начинало принимать серьезный оборот. Аким Захарыч озабоченно почесал затылок.

В эту минуту на баке показался молодой мичман Кошутич, любимец матросов. При появлении офицера матросы затихли. Боцман обрадовался.

— Вот, ваше благородие, — обратился он к мичману: — старший офицер приказал кинуть Куцего за борт, и команда очень обижается. За что безвинно губить собаку? Пес он, как вам известно, справный, два года ходил с нами... И вся его вина, ваше благородие, что он брюхом заболел...

Боцман объяснил, из-за чего вышла вся эта «дрязга», и прибавил:

— Уж вы не откажите, ваше благородие, заступитесь за Куцего... Попросите, чтобы нам его оставили...

И Куцый, точно понимая, что речь о нем, ласково смотрел на мичмана и тихо помахивал своим обрубком.

— Вон, ваше благородие, и Куцый вас просит.

Возмущенный до глубины души, мичман обещал заступиться за Куцего. На баке волнение улеглось. В лице Кочнева светилась надежда.

VI

— Барон, — взволнованно проговорил мичман, влетая в кают-компанию: — вся команда просит вас отменить приказание насчет Куцего и позволить ему жить на свете... За что же, барон, лишать матросов собаки!.. Да и какое она совершила преступление, барон?..

— Это не ваше дело, мичман Кошутич, — ответил барон. — И я прошу вас не забываться и мнений своих мне не выражать. Собака будет за бортом!

— Вы думаете?

— Прошу вас замолчать! — проговорил барон и побледнел.

— Так вы хотите взбунтовать команду, что ли, своей

жестокостью!? — воскликнул мичман, полный негодования. — Ну, это вам не удастся. Я иду сейчас к капитану.

И Кошутич бросился в капитанскую каюту.

Все, бывшие в кают-компании, взглянули на старшего офицера с видимой неприязненностью. Барон, бледный, с презрительной улыбкой на губах, нервно теребил одну бакенбарду.

Минуты через две капитанский вестовой доложил барону, что его просит к себе капитан.

— Что там за история с собакой, барон? — спросил капитан и как-то кисло поморщился.

— Никакой истории нет. Я приказал ее выкинуть за борт, — холодно ответил барон.

— За что же?

— Я предупреждал, что если увижу, что она гадит, я прикажу ее выкинуть за борт. Я увидел, что она нагадила, и приказал ее выкинуть за борт. Смею полагать, что приказание старшего офицера должно быть исполнено, если только дисциплина во флоте действительно существует!

«О, немецкая дубина!» подумал капитан, и лицо его еще более сморщилось.

— А я попрошу вас, барон, немедленно отменить ваше распоряжение и впредь оставить собаку в покое. Она на корвете с моего разрешения... Мне жаль, что приходится вам отменять свое же приказание, но нельзя же отдавать подобные приказания и без всякого повода раздражать людей...

— В таком случае, господин капитан, я имею честь просить вас отменить самому мое приказание, а я считаю это для себя невозможным. И кроме того...

— Что еще? — сухо спросил капитан.

— Я болен и исполнять обязанностей старшего офицера не могу.

— Так подайте рапорт... И, быть может, вам береговой климат будет полезнее.

Барон поклонился и вышел.

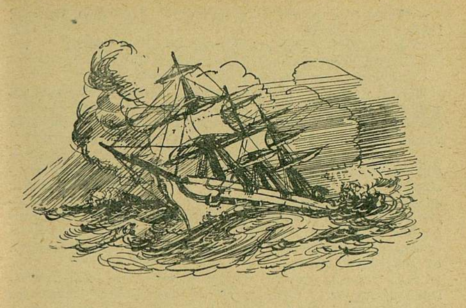
На другой же день, после прихода в Нагасаки, барон фон-дер-Беринг, к общему удовольствию, списался с корвета, и на «Могучий» был назначен другой старший офицер. Матросы вздохнули.

С отъездом барона Куцый снова зажил свободной жизнью и стал пользоваться еще большим расположением мат-

росов, так как благодаря ему корвет избавился от «Чортовой Зуды».

Попрежнему Куцый съезжал на берег вместе со своим другом Кочневым и сторожил его; попрежнему смотрел вперед и забавлял матросов разными штуками, причем при окрике «Зуда идет!» стремительно улепетывал вниз, но тотчас же возвращался, хорошо понимая, что врага его уже нет на корвете.





Посвящается Наташе.

В ШТОРМ

I

— Барин, а, барин! Лександра Иваныч! Ваше благородие!

И с этими словами Кириллов, вестовой мичмана Опольева, маленький и приземистый, чернявый молодой матросик с сережкой в ухе, расставив для сохранения равновесия ноги врозь и придерживаясь, чтобы не упасть, одной рукой за косяк двери, другою слегка дергал ногу мичмана, который крепко и сладко спал в своей маленькой каюте, несмотря на стремительную качку, бросавшую корвет «Сокол», словно мячик, на волнах рассвирепевшего Атлантического океана.

В ответ ни звука.

Барин был соня и, по выражению вестового, «вставал трудно».

И Кириллов, хорошо знавший, что его же «заругают», если барин хоть на минуту опоздает на вахту, после паузы снова дергает мичманскую ногу, но уже сильней и решительней,

— Ваше благородие! Вам на вахту, Лександра Иваныч! Извольте вставать!

— К чорту! — раздался сонный окрик из койки.

— Никак невозможно... Лександра Иваныч!

— Я умер! — промычал мичман. — Брысь!

И, отдернув ногу, которую теребил вестовой, Опольев натянул на себя одеяло и повернулся на другой бок, готовый сладко поспать, как сильный продольный размах корвета ударил мичмана лбом о переборку и заставил очнуться.

Он высунул из-под одеяла заспанное, совсем молодое лицо, красивое, нежное и румяное, с пробивающейся светло-русой шелковистой бородкой, девственными усиками и кудрявыми белокурыми волосами, и, щуря свои большие карие глаза, улыбался сонной счастливой улыбкой, как улыбаются дети после хорошего сна, видимо, находясь еще во власти чар сновидения, которые унесли его далеко-далеко от действительности.

Ярко-зеленая, свежая листва деревенского сада, дышащего ароматом... Пахучие липы, маленькая покосившаяся скамейка под ними с вырезанными именами «Елена», «Александр». Чудный профиль девушки в белой холстинке... Черные глаза, вдумчивые, нежные, добрые... Вьющиеся славные волосы с веткой сирени в косе... Любящий, полный ласковой грусти взгляд этой милой, дорогой Леночки, которая слушает восторженно-умиленные речи своего жениха и, вся притихшая, точно боясь спугнуть полноту счастья, жмет своей мягкой и теплой рукой все крепче и крепче руку мичмана, и слезы дрожат на ее ресницах... «Навсегда!» шепчет она. «Навсегда!» чуть слышно отвечает он... Они так долго сидят, и вечер, обаятельный и тихий, застал их немыми от радости... Сад точно замер вместе с ними... Ни звука, ни шороха. И загоравшиеся в небе звезды кротко и любовно мигают сверху, словно любуясь молодыми людьми и слушая, как полно бьются их переполненные сердца.

— Леночка! Александр Иваныч! Идите пить чай! — стоит еще в ушах ласковый голос Леночкиной матери.

Все это, напомнившее о себе чудным сном, представляется с ясною, дразнящею реальностью. Мозг еще не освободился от впечатлений грез. И молодому моряку хочется, до страсти хочется подолее задержать эти грезы.

Но прошло мгновение, другое — и они исчезли, словно растаяли, как дымок в воздухе.

В полусвете каюты, иллюминатор которой, наглухо задраенный (закрытый), то погружался в пенистую воду океана, то выходил из нее, пропуская сквозь матовое стекло слабый свет утра, Опольев увидал маленькую фигурку своего смышленого, расторопного вестового, который, держась обеими руками, качался вместе с каютой и со всеми находящимися в ней предметами, услыхал раздирающий душу скрип корвета, почувствовал отчаянную качку и окончательно пришел в себя.

Счастливая улыбка исчезла с его лица.

— Однако, валяет! — промолвил он с серьезным видом, стараясь принять такое положение, чтобы опять не стукнуться.

— Страсть как раскачало, ваше благородие.

— Скоро восемь?

— Склянка осталась!

— А наверху как?

— Не дай бог! Ревет!

— В ночь, видно, засвежело?

— Точно так, ваше благородие! Ночью фок убрали и четвертый риф взяли. Капитан всю ночь наверху, — докладывает вестовой.

И, помолчав, молодой матрос, впервые бывший в дальнем плавании, прибавил боязливым и несколько таинственным тоном:

— Даве ребята сказывали на баке, ваше благородие, будто похоже на то, что «штурма» настоящая начинается. Ветер так и гудет в снастях... Волна — и не приведи бог какая агромадная, Лександра Иваныч... Ровно горы катаются...

— Видно, боишься шторма, Кириллов, а?

— Боязно, Лександра Иваныч! — простодушно и застенчиво ответил матрос.

— Нечего, брат, бояться. Справимся и со штормом! — авторитетно и с напускной небрежностью заметил молодой офицер, сам еще никогда не испытывавший шторма и втайне начинавший уже ощущать некоторое беспокойство от этой адской качки, дергавшей и бросавшей корвет во все стороны.

Внизу, в каюте, опасность казалась значительнее.

— Точно так, ваше благородие! — поспешил согласиться и Кириллов — более по чувству деликатности перед «добрым барином» и по долгу дисциплины.

Но невольный страх, который он старался скрыть все-таки не оставлял молодого матроса.

— Холодно наверху?

— Пронзительно, ваше благородие.

— Дождевик приготовил?

— Готов.

— Ладно. Ну, теперь и вставать пора!

Но прежде чем расстаться с теплой койкой, мичман, снова охваченный набежавшим воспоминанием и в эту минуту особенно сильно пожалевший, что только что бывший сон не действительность, — совсем неожиданно проговорил с невольным вздохом:

— На берегу-то, небойсь, лучше жить, Кириллов?

— Что и говорить, Лександра Иваныч! — возбужденно отвечал молодой матрос, и его лицо оживилось улыбкой. — На сухопутье не в пример свободней... Одно слово: твердь. А тут, ваше благородие, с души рвет. Будь воля, сейчас бы ушел в деревню...

— Ушел бы? — усмехнулся мичман.

— Точно так, ваше благородие!

«И я бы сейчас уехал туда... в Засижье!» подумал мичман.

И с невеселой усмешкой сказал вслух:

— Некуда вот только отсюда уйти, Кириллов, а?

— Оно точно, что некуда, ваше благородие. Кругом вода!

— А ты пока, братец, насчет чаю схлопочи. Чтобы горячий был.

— Есть, ваше благородие! Чай готов. Старший офицер уже кушают. Неспособно только пить при такой качке, — прибавил Кириллов и вышел из каюты, чтобы «схлопотать» насчет горячего чаю «доброму барину», который очень хорошо обращался с своим вестовым и часто с ним «лясничал» по душе.

Кириллов направился к камбузу, едва удерживаясь на ногах и выписывая мыслете. Встретив там своего приятеля-вестового, такого же молодого матроса, как и он сам, Кириллов, словно подбадривая самого себя и не желая обнаружить своего страха перед приятелем и несколькими бывшими у камбуза матросами, — проговорил с напускною шутливостью:

— Ровно, брат, на качелях качает. Совсем ходу ногам не дает!

И не без задора прибавил:

— А ты, Василий, уж и трусу, брат, празднуешь?

— То-то все думается... Как бы... Ишь буря-то какая! — промолвил бледный от страха и тошноты матрос.

— А ты не думай, Вась!.. Чего бояться? Штурма, так штурма. Небось, справимся и со штурмой! — хвастливо говорил вестовой, повторяя слова мичмана.

И даже заставил себя засмеяться, хотя сам жестоко трусил.

II

Минут через десять, в течение которых молодому мичману пришлось принять самые невероятные, едва ли известные акробатам позы, чтобы при совершении туалета применять законы равновесия тел к собственной своей особе, Опольев, умытый и одетый, вышел из каюты.

В палубе было сыро, душно и пахло скверным, промозглым запахом непроветренного матросского жилья. Все люки были наглухо закрыты, и свежий воздух не проникал. Подвахтенные матросы большею частью сидели или лежали на палубе молчаливые и серьезные, изредка обмениваясь словами насчет «анафемской» погоды. Нескольких укачало. Примостившись у машинного люка, старый матрос Щербаков (он же и «образной», то есть заведующий корветским образом и исполняющий во время треб обязанности дьячка) тихим монотонным голосом читал евангелие, и около чтеца сидела небольшая кучка матросов, слушавших чтение с напряженным вниманием и не столько понимая смысл славянского текста, сколько восхищаясь певучим, умиленным голосом чтеца и его торжественно-приподнятым тоном.

Ступать по палубе было трудно. Она словно вырывалась из-под ног, и нужно было особое искусство и уменье выбирать моменты, чтобы пройти по ней.

Кают-компания, обыкновенно в этот час оживленная сбором офицеров к чаю, теперь почти пуста. Почти все отлеживаются по каютам. Висячая большая лампа над привинченным к палубе обеденным столом раскачивается во все стороны под однообразный скрип переборок. Крепко принайтовленные (привязанные) библиотечный шкаф и фортепиано поскрипывают тоже. Сквозь закрытый стеклянный люк кают-компании доносится глухой гул ревущего ветра. Корвет

вздрагивает кормой и всеми своими членами, и это вздрагивание ощущается внизу сильнее. Как-то мрачно и неприветливо в кают-компании, обыкновенно веселой и шумной.

Всегда резвая и забавная Лайка, неказистая на вид рыжая собачонка неизвестной породы, с кургузым хвостом, забежавшая случайно на корвет, когда он готовился к дальнему плаванию в кронштадтской гавани, и с тех пор оставшаяся на корвете под именем Лайки, данным ей матросами, — она теперь, забравшись в угол, по временам жалобно подвывает, беспомощно озираясь мутными глазами и, видимо, недоумевая: как бедняге приспособиться, чтобы не кататься по скользкой клеенке, которой обтянут пол кают-компании. Отсутствует, против обыкновения, и Лайкин приятель Васька, белый жирный кот артиллерийского офицера. Видно, и Ваську укачало.

Одетый в толстое, драповое короткое пальто, на диване сидел лишь старший офицер, плотный, здоровый брюнет лет тридцати пяти, загорелый, серьезный и, видимо, возбужденный. Он осторожно держал в своей широкой бронзовой руке, мускулистой и волосатой, стакан с чаем без блюдечка и подносил его к своим густым черным усам, улавливая моменты, когда можно было хлебнуть, не проливши жидкости.

— Доброго здоровья, Алексей Николаич!

— Мое почтение, Александр Иваныч!

Придерживаясь за привинченную к полу скамейку около стола, мичман подошел к старшему офицеру, чтобы поздороваться, и чуть было не навалился на него.

— Говорят, за ночь засвежело, Алексей Николаич? — спросил молодой человек, присаживаясь на скамейку около дивана.

— Свежо-с! — коротко отрезал старший офицер.

Он продолжал молча отхлебывать глотками чай, занятый какими-то мыслями, и через минуту проговорил:

— Главное: анафемское волнение! Того и гляди, какую-нибудь шлюпку снесет или борт поломает! — озабоченно и сердито продолжал старший офицер и, допив стакан, вышел наверх.

— Эй, вестовые! Скоро ли чаю? — крикнул Опольев, оставшись один.

Но уже стриженая черная четырехугольная голова Кириллова показалась в дверях кают-компании, и вслед за тем он стремительно сделал шага два вперед, брошенный качкой,

но, однако, успел удержаться и сохранить в руках стакан с чаем, обернутый салфеткой. Сзади его другой вестовой нес сахарницу и корзинку с сухарями. Все было донесено благополучно, и Опольев, жадно выпив один стакан, спросил другой.

В эту минуту в кают-компанию спустился сверху, чтобы «начерно» выпить стаканчик горячего чаю, старший штурман, старый, низенький человечек в блестевшем каплями кожане, надетом поверх пальто, с обмотанным вокруг шеи шарфом и с надвинутой на лоб фуражкой. Все на нем было старенькое, потасканное, обтрепавшееся, но все сидело как-то необыкновенно ловко, придавая всей его фигуре вид старого морского волка.

Несмотря на порывистую качку, он ступал по палубе своими привычными цепкими морскими ногами, не держась ни за что, то балансируя, то вдруг приседая, словом принимая самые разнообразные положения, соответственно направлению качающегося судна.

Заметив по выражению красного, морщинистого лица старика, что он не в дурном расположении духа, в каком он бывал, когда ему слишком надоедали расспросами или когда корвет плыл вблизи опасных мест, а старый штурман не был уверен в точности счисления, — молодой мичман, после обмена приветствий, спросил:

— Как дела наверху, Иван Иваныч?

— Сами увидите, батюшка, какие дела... Вы ведь, видно, на вахту, что такая ранняя птичка сегодня! — пошутил старик. — Дела-с обыкновенные на море! — прибавил он, аппетитно прихлебывая поданный ему чай, в который он влил несколько коньяку — «для вкуса», как обыкновенно говорил штурман.

— Где мы теперь находимся, Иван Иваныч?

— А на параллели Бискайского залива, во ста милях от берега. Ну-ка еще стакашку! — крикнул старый штурман вестовому. — Да и коньяку не забудь! Приятный вкус чаю придает! — прибавил он, снова обращаясь к молодому человеку. — Попробовали бы... И от качки полезно... Что, вас не размотало?

— Нисколько! — похвастал мичман.

— Вначале всякого разматывает, пока не обтерпишься... А есть люди, что никогда не привыкают... Помню: служил я с таким одним лейтенантом... С пути должен был, бедняга, вернуться в Россию.

— К вечеру, я думаю, и стихнет? — спрашивал Опольев, стараясь придать своему голосу тон полнейшего равнодушия, точно ему было все равно — стихнет или не стихнет.

Иван Иваныч в ответ усмехнулся.

— Стихнет-с? — переспросил он.

— А разве нет?

— К вечеру, я полагаю, настоящая штормяга будет. Барометр шибко падает.

Старый штурман, перенесший на своем долгом веку немало штормов и раз даже испытавший крушение на парусной шкуне у берегов Камчатки, проговорил эти слова таким спокойным тоном, точно дело шло о самой обыкновенной вещи, и, отхлебнув несколько глотков чаю с коньяком, крякнул от удовольствия и прибавил:

— Теперь вот и кашель душить не будет... А то стоял наверху и все кашлял... Эй, Васильев! — крикнул он.

Явился вестовой.

— Плесни-ка еще чуть-чуть коньячку... Стоп — так!.. Мокроту разгоняет! — снова прибавил, как бы в оправданье, старый штурман, любивший-таки лечить и свои и чужие болезни специально коньяком и в некоторых случаях хересом и марсалой.

Других вин старик не признавал и особенно презирал шампанское, называя его «дамским полосканьем».

— Так вы полагаете, Иван Иваныч, что шторм? — небрежно переспросил Опольев и в то же время покраснел, чувствуя, что голос его дрогнул, и воображая, что штурман заметил его страх.

— Обязательно! Форменный, батюшка, штормяга! Уж такая эта подлая Бискайка.[1] Сколько раз я ее ни проходил, всегда, шельма, угостит штормиком! Да-с.

Старик с видимым наслаждением допил стакан, нахлобучил фуражку и ушел.

Опольев взглянул на кают-компанейские часы: до восьми часов оставалось еще пять минут. Он допил чай, надел, при помощи Кириллова, дождевик и, с первым ударом колокола, начинавшего отбивать восемь склянок, поднялся по трапу наверх, возбужденный и взволнованный в ожидании «первого шторма» в своей жизни, и снова на мгновение вспомнил о кудрявом деревенском саде, о Леночке с ее чер-

---

[1] Бискайский залив.

неющей родинкой на румяной щеке, с ее славными глазами...

«Как там хорошо, а здесь»... — пронеслось в голове молодого моряка.

Он вышел на палубу и сразу очутился в иной атмосфере. Его охватил резкий, холодный ветер и обдало водяной пылью. Он услыхал характерный вой ветра в снастях и рангоуте, увидал бушующий седой океан, — и мысли его мгновенно приняли другое направление — морское.

И он принял равнодушный вид и молодцевато поднялся на мостик, точно сам чорт ему не брат и штормы для него привычное дело.

III

Несмотря на жгучее чувство страха, охватившее в первый момент молодого мичмана, величественное зрелище бушующего океана невольно приковало его глаза, наполнив душу каким-то безотчетным благоговейным смирением и покорным сознанием слабости «царя природы» перед этим грозным величием стихийной силы.

Вокруг, на видимое глазом пространство, океан словно весь кипел в белой пене, представляя собой взрытую холмистую поверхность волн, несущихся, казалось, с бешеной силой и с шумом разбивающихся одна о другую своими седыми гребнями. Но, кажущиеся вдали небольшими холмами, эти валы вблизи преображаются в высокие водяные горы, среди которых, то опускаясь в лощину, образуемую двумя валами, то поднимаясь на гребень, идет маленький черный корвет со своими почти оголенными мачтами, со спущенными стеньгами, встречая приближение шторма в бейдевинд, под марселями в четыре рифа.

Раскачиваясь и вперед и назад, и вправо и влево, корвет, поднимаясь на волну, разрезает ее и иногда зарывается в ней носом, и часть волны попадает на бак, а другая бешено разбивается о бока судна, рассыпаясь алмазными брызгами. Изредка корвет черпает бортом, и тогда верхушки волн вкатываются на палубу, выливаясь через противоположный борт в шпигаты.

Вот-вот настигает громадный вал... Вон он за опустившейся кормой, высоко над нею и, кажется, сейчас обрушится и зальет этот корвет, кажущийся теперь крохотной скор-

лупкой, зальет со всеми двумястами его обитателями без всякого следа... Но в это мгновение нос корвета уже спускается с другого вала, корма поднялась высоко, и страшный задний вал с гулом разбивается об нее и снова опускает корму.

Все небо заволокло темными кучевыми облаками, которые бешено несутся в одном направлении. Мгновенно покажется солнце, обдаст блеском седой океан и вновь скроется под тучами. Ветер ревет, срывая по пути верхушки волн, рассыпающихся серебристой пылью, и воет в рангоуте, в снастях, потрясает их, точно негодуя, что встретил препятствие...

Вахтенные матросы в своих просмоленных парусиновых пальтишках, надетых поверх синих фланелевых рубах, держатся за снасти. Все молчаливы и серьезны. Ни шутки, ни смеха. Когда волна обдает брызгами, они, словно утки, отряхиваются от воды и снова смотрят то на океан, то на мостик.

Там, словно прикованный, стоит, широко расставив ноги, пожилой капитан, держась руками за поручни. Он, повидимому, спокоен и посматривает то на горизонт, то на паруса. Он не спал целую ночь. Его лицо, обветрившееся, утомленное и сосредоточенное, кажется старее от бессонной ночи. Он собирается отдохнуть часок-другой, но прежде, чем спуститься к себе в каюту, решил при себе убрать марсели, чтобы встретить шторм с меньшею площадью парусности, под штормовыми парусами.

И он приказал Опольеву резким, сиплым голосом:

— Уберите марсели и поставьте зарифленные триселя, штормовую бизань и фор-стеньги-стаксель!

— Есть! — отвечал мичман и, приставив ко рту рупор, крикнул:

— Марселя крепить! Марсовые, к вантам!

И когда марсовые матросы подошли к вантам, продолжал:

— По марсам!

Крепко держась руками за вантины, матросы тихо и осторожно полезли по веревочной лестнице и, достигнув марсов, расползлись по стремительно качающимся реям. У молодого офицера замер дух при виде этих маленьких человеческих фигур на высоте, раскачивающихся вместе с реями и крепивших паруса при таком адском ветре. Ему все казалось, что кто-нибудь да сорвется и упадет за борт. И

он не спускал с рей испуганных глаз. И капитан и старший офицер тоже не спускали глаз. Видно, и их беспокоила та же мысль.

Но матросы цепко держались и ногами, и руками. Держась одной рукой за рею, каждый другой убирал мякоть паруса, и, когда все было окончено, Опольев с облегченным сердцем скомандовал:

— Марсовые, вниз!

Затем были поставлены штормовые паруса, и капитан сказал Опольеву своим обычным повелительным тоном:

— Если что случится, дать знать... Да на руле не зевать! —крикнул он, чтобы слышали рулевые.

И ушел отдохнуть. Наверху, кроме вахтенного Опольева, остался старший офицер.

К концу вахты молодой мичман уже свыкся с положением, и буря уж не так пугала его. И когда в полдень он сменился и спустился в кают-компанию, то вошел туда с горделивым видом человека, побывавшего в переделке. Но на его горделивый вид никто не обратил внимания.

По случаю погоды «варки» не было, и обед состоял из холодных блюд: ветчины и разных консервов. Обедали в кают-компании с деревянной сеткой, укрепленной поверх стола, в гнездах которой стояли приборы, лежали обернутые в салфетки бутылки и т. п. Вестовые с трудом обносили блюда, еле держась на ногах от качки. Обед прошел скоро и молчаливо. Обычных шумных разговоров и шуток не было, да и аппетит у многих был плохой. Один только старый штурман ел, по обыкновению, за двоих и выпил обычную свою порцию за обедом — бутылку марсалы.

После обеда все разошлись по каютам.

IV

К ночи ветер достиг степени шторма.

Опольев, совсем одетый, дремавший у себя в койке, внезапно проснулся от какого-то страшного грохота. Очнувшись, он увидал, что вся его каюта озарена светом молнии. Затем снова мрак и снова раскат грома над головой.

Он ощупью нашел двери каюты и вышел в жилую палубу, едва держась на ногах. Корвет положительно метало во все стороны. В палубе никто не спал. Матросские койки висели пустые. Бледные и испуганные сидели подвахтенные

матросы кучками и жались друг к другу, словно бараны. Многие громко вздыхали, шептали молитвы и крестились. При слабом свете качающихся фонарей эта толпа испуганных людей производила тяжелое, угнетающее впечатление. Кто-то, громко охая, проговорил, что «пора, братцы, надевать чистые рубахи».[1]

Но в ту же минуту раздалась энергичная ругань боцмана, вслед за которой тот же сиплый басок боцмана проговорил:

— Ты у меня поговори!.. Смущай людей! Я тебе задам рубахи! А еще матросы!

И снова посыпалась звучная ругань, успокоившая испуганных людей.

Как и утром, образной, старик Щербаков, сидел на прежнем месте у машинного люка, окруженный кучкой матросов.

И его монотонный голос, торжественный и умиленный, громко и отчетливо читал под раскаты грома:

«В день же тот исшед Иисус из дому, седаше при море. И собрашася к нему народи мнози, якоже ему в корабль влезти и сести. И весь народ на бреге стояша. . .»

У самого трапа, держась за него руками, стоял Кириллов и чуть слышно всхлипывал.

— Кириллов, ты? — окликнул его Опольев.

— Я, ваше благородие!

— Что ты? Никак ревешь?

— Страшно, Лександра Иваныч, да и Щербаков жалостно читает.

— Стыдись... ведь ты матрос?

— Матрос, ваше благородие! — отвечал, стараясь глотать слезы, молодой матросик.

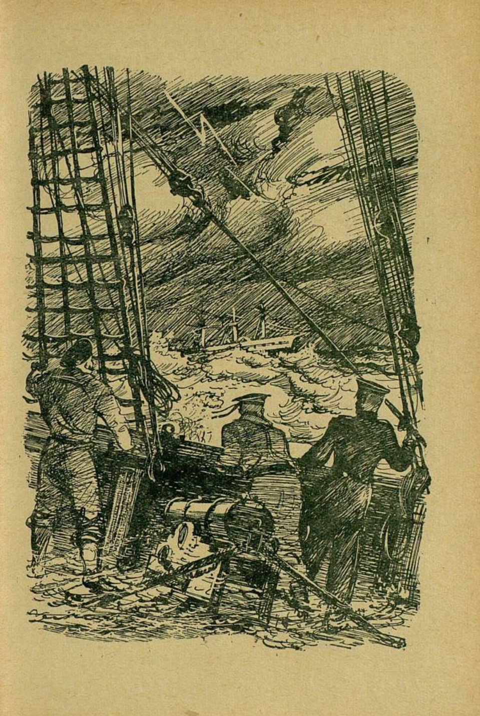
— То-то и есть! Ну, полно, полно, брат... Никакой опасности нет! — ласково проговорил мичман и, сам бледный и взволнованный, потрепал по плечу своего вестового и, держась за перила трапа, отдернул люки и вышел на палубу.

Цепляясь за пушки, пробрался он на ют, под мостик, и, взглянув кругом, в первую минуту оцепенел от ужаса.

Корвет метался во все стороны, и волны свободно перекатывались через переднюю часть. Гром грохотал, не пере-

---

[1] Перед крушением у русских матросов был обычай надевать чистые рубахи.



ставая, и сверкала молния, прорезывая огненным зигзагом черные нависшие тучи и освещая беснующийся океан с его водяными горами и палубу корвета с вышибленными на нескольких местах бортами. Катера одного не было — его смыло. Казалось, шторм достиг своего апогея и трепал корвет, стараясь его уничтожить, но корвет не поддавался и вскакивал на волну, и снова опускался, тяжело ударяясь и скрипя, словно бы от боли. Матросы толпились на шканцах и на юте, держась за протянутые леера. [1] По временам, при ослепительном блеске молнии, все молча крестились.

Капитан стоял у штурвала, рядом с шестью рулевыми, правившими рулем, и отрывисто указывал, как править. При свете фонаря видно было его истомленное, бледное и страшно серьезное лицо. Тут же стояли старший штурман Иван Иваныч и старший офицер.

В первые минуты молодого мичмана охватил жестокий страх, но потом страх постепенно сменился каким-то покорным оцепенением.

«Все равно, спасения нет в случае крушения!» пронеслось у него в голове.

И он стоял, уцепившись за что-то, потрясенный и безмолвный.

— Господи помилуй! — раздался возле него голос сигнальщика. — Смотрите, ваше благородие!

Но Опольев уже видел. Он видел при свете блеснувшей молнии, в недалеком расстоянии, силуэт погибающего судна, видел фигуры людей с простертыми руками, и невольно зажмурил глаза.

Снова сверкнула молния и озарила океан. Судна уже не было.

Опольев перекрестился. Скорбный вздох нескольких человек вырвался около него.

— Потопли! — произнес чей-то голос.

. . . .

Молодой мичман стоял на палубе, смотря на бушующий шторм, час, другой. . . сколько именно — он не помнил.

Наконец буря, казалось, стала чуть-чуть утихать, и Опольев спустился вниз.

В палубе попрежнему царил страх, и Щербаков читал евангелие.

---

[1] Леера — веревки, протягиваемые вдоль судна во время сильной качки.

Молодой человек бросился в койку. Он долго не мог заснуть, потрясенный только что виденным. Наконец тяжелый сон охватил его.

V

Когда он проснулся, яркий дневной свет стоял в каюте. Он приподнялся и с радостным изумлением почувствовал, что качка теперь совсем другая — правильная и покойная. Он выглянул на палубу. Матросы весело разговаривали. Люки все были открыты, и в палубе не пахло скверным запахом.

— Кириллова послать! — крикнул он.

Явился Кириллов, веселый и радостный.

— Здорово, брат. Что, стихло?

— Стихло, ваше благородие!

— Ну, видишь, со штормом и справились! — говорил мичман.

— Точно так, ваше благородие.

В кают-компании было оживленно. Все были в сборе и говорили о шторме, о том, как лихо выдержал его «Сокол», отделавшись поломкой бортов да потерей катера. Но о погибшем вчера на глазах судне все почему-то избегали вспоминать.

— А штормяга изрядный был. Знатно трепало! — сказал старый штурман. — И теперь еще свежо!.. Ну, да барометр подымается! — прибавил он и после своих двух стаканов разбавленного коньяком чая пошел наверх «ловить солнышко», то есть делать обсервации.

Хотя качало еще порядочно, но сегодня можно было напиться чаю по-человечески, и Опольев с аппетитом съел за чаем чуть ли не полкоробки английских печений, проголодавшись со вчерашнего дня, не забыв угостить и ласкавшуюся веселую Лайку и жирного кота Ваську.

Затем он пошел взглянуть на океан.

Океан, видимо, «отходил» и катил все еще большие свои волны далеко не с прежним бешенством, и корвет, под зарифленными марселями, фоком и гротом, несся теперь при свежем, ровном ветре узлов по одиннадцати в час, легко убегая от попутной волны.

Плотники чинили проломленный в нескольких местах борт, мурлыкая вполголоса какую-то песенку.

Дня через два, в девятом часу утра, Кириллов будил своего барина:

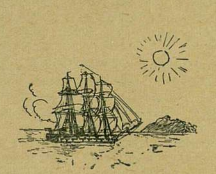
— Ваше благородие! Лександра Иваныч! Вставайте! К Мадере подходим!

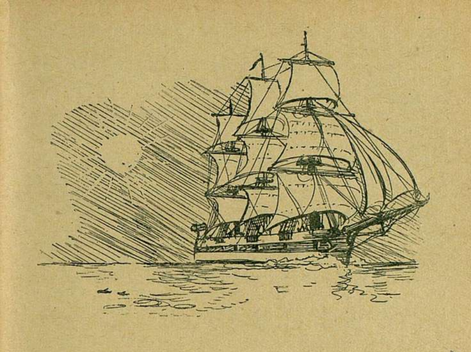
После долгих дерганий вестовой разбудил мичмана.

— Скоро на якорь становиться, ваше благородие! Погода — благодать! — весело говорил вестовой.

Опольев быстро оделся и выбежал наверх.

Чуть-чуть попыхивая дымком из трубы, корвет подходил под парами к подернутому легкой туманной дымкой высокому острову. Успевший починить свои аварии после шторма «Сокол» сиял чистотой и блеском под лучами ослепительного солнца, медленно плывшего в голубой, безоблачной высоте. И океан, еще недавно наводивший трепет, теперь ласковый и спокойный, тихо шевелясь переливающейся зыбью, нежно лизал своей манящей, прозрачной синевой бока едва покачивающегося корвета.





«ЧЕЛОВЕК ЗА БОРТОМ»

I

Жара тропического дня начинала спадать. Солнце медленно катилось по горизонту.

Подгоняемый нежным пассатом, клипер нес всю парусину и бесшумно скользил по Атлантическому океану узлов по семи. Пусто кругом: ни паруса, ни дымка на горизонте! Куда ни взглянешь, все та же безбрежная водяная равнина, слегка волнующаяся и рокочущая каким-то таинственным гулом, окаймленная со всех сторон прозрачной синевой безоблачного купола. Воздух мягок и прозрачен; от океана несет здоровым морским запахом.

Пусто кругом.

Изредка разве блеснет под лучами солнца яркой чешуйкой, словно золотом, перепрыгивающая летучая рыбка, высоко в воздухе прореет белый альбатрос, торопливо пронесется над водой маленькая петрель, спешащая к далекому африканскому берегу, раздастся шум водяной струи, выпускаемой китом, и опять ни одного живого существа вокруг.

Океан да небо, небо да океан — оба спокойные, ласковые, улыбающиеся.

— Дозвольте, ваше благородие, песенникам песни петь! — спросил вахтенный унтер-офицер, подходя к офицеру, лениво шагающему по мостику.

Офицер утвердительно махнул головой, и через минуту стройные звуки деревенской песни, полной шири и грусти, разнеслись среди океана.

Довольные, что после дневной истомы наступила прохлада, матросы толпятся на баке, слушая песенников, собравшихся у баковой пушки. Завзятые любители, особенно из старых матросов, обступив певцов тесным кружком, слушают сосредоточенно и серьезно, и на многих загорелых, обветрившихся лицах светится безмолвный восторг. Подавшийся вперед широкоплечий, сутулый старик Лаврентьев, «основательный» матрос из «баковщины», с жилистыми, просмоленными руками, без пальца на одной руке, давно оторванного марса-фалом, и цепкими, слегка вывернутыми ногами, — отчаянный пьяница, которого с берега привозят всегда в бесчувствии и с разбитой физиономией (он любил лезть в драку с иностранными матросами за то, что они, по его мнению, «не пьют настояще, а только куражатся», разбавляя водой крепчайший ром, который он дует гольем), — этот самый Лаврентьич, слушая песни, словно замер в какой-то истоме, и его морщинистое лицо с красно-сизым, как слива, носом и щетинистыми усами, — обыкновенно сердитое, точно Лаврентьич чем-то недоволен и сейчас выпустит фонтан ругани, — смотрит теперь необыкновенно кротко, смягченное выражением тихой задумчивости. Некоторые матросы тихонько подтягивают; другие, рассевшись по кучкам, вполголоса разговаривают, выражая по временам одобрение то улыбкой, то восклицанием.

И в самом деле, хорошо поют наши песенники! Голоса в хоре подобрались всё молодые, свежие и чистые и спелись отлично. Особенно приводил всех в восторг превосходный бархатный тенорок подголоска Шутикова. Этот голос выделялся среди хора своей красотой, забираясь в самую душу чарующей искренностью и теплотой выражения.

— За самое нутро хватает, подлец, — говорили про подголоска матросы.

Песня лилась за песнею, напоминая матросам, среди тепла и блеска тропиков, далекую родину с ее снегами и моро-

зами, полями, лесами и черными избами, с ее близкими сердцу бездольем и убожеством...

— Вали плясовую, ребята!

Хор грянул веселую плясовую. Тенорок Шутикова так и заливался, так и звенел теперь удальством и весельем, вызывая невольную улыбку на лицах и заставляя даже солидных матросов поводить плечами и притопывать ногами.

Макарка, маленький, бойкий молодой матросик, давно уже чувствовавший зуд в своем поджаром, словно в себя подобранном теле, не выдержал и пошел отхватывать трепака под звуки залихватской песни, к общему удовольствию зрителей.

Наконец пение и пляска кончились. Когда Шутиков, сухощавый, стройный чернявый матрос, вышел из круга и пошел курить к кадке, его провожали одобрительными замечаниями:

— И хорошо же ты поешь, ах, хорошо, пес тебя ешь! — заметил растроганный Лаврентьич, покачивая головой и прибавляя в знак одобрения непечатное ругательство.

— Ему бы подучиться, да ежели, примерно, генерал-бас понять, так хучь в оперу! — с апломбом вставил молодой наш писарь из кантонистов Пуговкин, щеголявший хорошим обращением и изысканными выражениями.

Лаврентьич, не терпевший и презиравший «чиновников»,[1] как людей, по его мнению, совершенно бесполезных на судне, и считавший как бы долгом чести при всяком случае обрывать их, насупился, бросил сердитый взгляд на белокурого, полнотелого, смазливого писарька и сказал:

— Ты-то у нас опера!... Брюхо отрастил от лодырства, и вышла опера!..

Среди матросов раздалось хихиканье.

— Да вы понимаете ли, что такое обозначает опера? — заметил сконфуженный писарек. — Эх, необразованный народ! — тихо проговорил он и благоразумно поспешил скрыться.

— Ишь, какая образованная мамзеля! — презрительно пустил ему вслед Лаврентьич и прибавил, по своему обыкновению, забористую ругань, но уже без ласкового выражения...

---

[1] «Чиновниками» матросы называют всех нестроевых: писарей, фельдшера, баталера, подшкипера.

— То-то я и говорю, — начал он, помолчав и обращаясь к Шутикову, — важно ты поешь песни, Егорка...

— Уж что и толковать. Он у нас на все руки. Одно слово... молодца Егорка!.. — заметил кто-то.

В ответ на одобрения, Шутиков только улыбался, скаля белые ровные зубы из-под добродушных пухлых губ.

И эта довольная улыбка, ясная и светлая, как у детей, стоявшая в мягких чертах молодого, свежего лица, подернутого краской загара, и эти большие, темные глаза, кроткие и ласковые, как у щенка, и аккуратная, подобранная, сухощавая фигура, крепкая, мускулистая и гибкая, не лишенная, однако, крестьянской мешковатой складки,—все в нем притягивало и располагало к себе с первого раза, как и чудный его голос. И Шутиков пользовался общей приязнью. Все любили его, и он всех, казалось, любил.

Это была одна из тех редких, счастливых, жизнерадостных натур, при виде которых невольно делается светлее и радостнее на душе. Такие люди какие-то прирожденные философы-оптимисты. Его веселый, сердечный смех часто раздавался на клипере. Бывало он что-нибудь рассказывает и первый же заразительно вкусно смеется. Глядя на него, и другие невольно смеялись, хотя бы в рассказе Шутикова иногда и не было ничего особенно смешного. Оттачивая какой-нибудь блочек, отскабливая краску на шлюпке или коротая ночную вахту, примостившись на марсе за ветром, Шутиков обыкновенно тихо подпевал какую-нибудь песенку, а сам улыбался своей хорошей улыбкой, и всем было как-то весело и уютно с ним. Веселое настроение не покидало его и тогда, когда другие готовы были упасть духом, и в такие минуты Шутиков был незаменим.

Помню я, как однажды мы штормовали. Ветер ревел жестокий, кругом бушевала буря, и клипер под штормовыми парусами бросало, как щепку, на океанском волнении, готовом, казалось, поглотить в своих гребнях утлое суденышко. Клипер вздрагивал и жалобно стонал всеми членами, сливая свои жалобы со свистом ветра, завывающего в надувшихся снастях. Даже старики-матросы, видавшие всякие виды, угрюмо молчали, пытливо посматривая на мостик, где словно приросла к поручням высокая, закутанная в дождевик фигура капитана, зорко взглядывавшего на беснующуюся бурю.

А Шутиков в это время, придерживаясь одною рукою за снасти, чтоб не упасть, занимал небольшую кучку молодых

матросов, с испуганными лицами прижавшихся к мачте, посторонними разговорами. Он так спокойно и просто «лясничал», рассказывая про какой-то забавный деревенский случай, и так добродушно смеялся, когда долетавшие брызги волн попадали ему в лицо, что это спокойное настроение невольно передавалось другим и ободряло молодых матросов, отгоняя всякую мысль об опасности.

— И где это ты, дьявол, насобачился так ловко горло драть? — снова заговорил Лаврентьич, посасывая носогрейку с махоркой. — Пел у нас на «Костенкине» один матросик, надо правду сказать, что форменно, шельма, пел. . . да все не так забористо.

— Так, самоучкой, в пастухах когда жил. Бывало стадо разбредется по лесу, а сам лежишь под березкой и песни играешь . . . Меня так в деревне и прозывали: певчий пастух! — прибавил Шутиков, улыбаясь.

И все почему-то улыбнулись в ответ, а Лаврентьич, кроме того, трепанул Шутикова по спине и, в виде особого расположения, выругался в самом нежном тоне, на который только был способен его испитой голос.

II

В эту минуту, расталкивая матросов, в круг торопливо вошел только что выскочивший из палубы плотный пожилой матрос Игнатов.

Бледный и растерянный, с непокрытой, коротко остриженной круглой головой, он сообщил порывистым от злобы и волнения голосом, что у него украли золотой.

— Двадцать франоков! Двадцать франоков, братцы! — жалобно повторял он, подчеркивая цифру.

Это известие смутило всех. Такие дела бывали редкостью на клипере.

Старики нахмурились. Молодые матросы, недовольные, что Игнатов внезапно нарушил веселое настроение, более с испуганным любопытством, чем с сочувствием, слушали, как он, задыхаясь и отчаянно размахивая своими опрятными руками, спешил рассказать про все обстоятельства, сопровождавшие покражу: как он, еще сегодня, после обеда, когда команда отдыхала, ходил в свой сундучишко, и все было, слава богу, целехонько, все на своем месте, и как вот

сейчас он пошел было за сапожным товаром — и . . . замок, братцы, сломан... двадцати франков нет...

— Это как же? Своего же брата обкрадывать? — закончил Игнатов, обводя толпу блуждающим взглядом.

Его гладкое, сытое, чисто выбритое, покрытое крупными веснушками лицо с небольшими круглыми глазами и острым, словно у ястреба, загнутым носом, отличавшееся всегда спокойной сдержанностью и довольным степенным видом неглупого человека, понимающего себе цену, теперь было искажено отчаянием скряги, который потерял все имущество. Нижняя челюсть вздрагивала; круглые его глаза растерянно перебегали по лицам. Видно было, что покража совсем его расстроила, обнаружив его кулацкую, скаредную натуру.

Недаром же Игнатов, которого некоторые матросы уж начинали почетно величать «Семенычем», был прижимистым и жадным к деньгам человеком. Он и в кругосветное плавание пошел, вызвавшись охотником и оставив в Кронштадте жену — торговку на базаре — и двоих детей, с единственной целью прикопить в плавании деньжонок и, выйдя в отставку, заняться в Кронштадте по малости торговлей. Он вел крайне воздержную жизнь, вина не пил, на берегу денег не тратил. Он копил деньги, копил их упорно, по грошам, знал, где можно выгодно менять золото и серебро, и, под большим секретом, давал мелкие суммы взаймы за проценты надежным людям. Вообще Игнатов был человек оборотистый и рассчитывал сделать хорошее дело, привезя в Россию для продажи сигар и кое-какие японские и китайские вещи. Он и раньше уж занимался такими делишками, когда плавал по летам в Финском заливе: в Ревеле бывало закупит килек, в Гельсингфорсе сигар и мамуровки и с выгодой перепродаст в Кронштадте.

Игнатов был рулевым, служил исправно, стараясь ладить со всеми, дружил с баталером и подшкипером, был грамотен и тщательно скрывал, что у него водятся деньжонки и, притом, для матроса порядочные.

— Это беспременно подлец Прошка, никто, как он! — закипая гневом, взволнованно продолжал Игнатов. — Даве он все вертелся в палубе, когда я ходил в сундук... Что ж теперь с этим подлецом делать, братцы? — спрашивал он, обращаясь преимущественно к старикам и как бы ища их поддержки. — Неужто я так и решусь денег? . . Ведь деньги-то у меня кровные . . . Сами знаете, братцы, какие у мат-

роса деньги... По грошам сбирал... чарки своей не пью... — прибавил он униженным, жалобным тоном.

Хотя никаких других улик, кроме того, что Прошка «даве вертелся в палубе», не было, тем не менее и сам потерпевший, и слушатели не сомневались, что украл деньги именно Прошка Житин, не раз уже попадавшийся в мелких кражах у товарищей. Ни один голос не раздался в его защиту. Напротив, многие возмущенные матросы осыпали предполагаемого вора бранью.

— Этакий мерзавец!.. Только срамит матросское звание... — с сердцем сказал Лаврентьич.

— Да-да... Завелась и у нас паршивая собака...

— Надо его теперь проучить, чтобы помнил, лодырь беспутный!

— Так как же, братцы? — продолжал Игнатов. — Что с Прошкой делать?.. Ежели не отдаст он добром, я попрошу доложить старшему офицеру. Пусть по форме разберут.

Но эта приятная Игнатову мысль не нашла на баке поддержки. На «баке» был свой особенный, неписаный устав, строгими охранителями которого, как древле жрецы, были старые матросы.

И Лаврентьич первый энергично запротестовал.

— Это, выходит, с лепортом по начальству? — презрительно протянул он. — Кляузы заводить? Забыл, видно, с перепугу он матросскую правилу? Эх, вы... народ! — И Лаврентьич для облегчения помянул «народ» своим обычным словом. — Тоже выдумал, а еще матросом считаешься! — прибавил он, бросая на Игнатова не особенно дружелюбный взгляд.

— По-вашему, как же?

— А по-нашему так же, как прежде учивали. Избей ты собачьего сына Прошку вдрызг, чтобы помнил, да отыми деньги. Вот как по-нашему.

— Мало ли его, подлеца, били! А ежели он не отдаст?.. Так, значит, и пропадать деньгам. Это за что же? Пусть уж лучше форменно засудят вора... Такую собаку нечего жалеть, братцы.

— Жаден ты к деньгам уж очень, Игнатов... Небось, Прошка не все украл... Еще малость осталась? — иронически промолвил Лаврентьич.

— Считал ты, что ли!

— То-то не считал, а только не матросское это дело

кляузы. Не годится! — авторитетно заметил Лаврентьич. — Верно ли я говорю, ребята?

И все почти «ребята», к неудовольствию Игнатова, подтвердили, что кляузы заводить «не годится».

— А теперь, веди сюда Прошку! Допроси его при ребятах! — решил Лаврентьич.

И Игнатов, злой и недовольный, подчинился, однако, общему решению и пошел за Прошкой.

В ожидании его матросы теснее сомкнули круг.

III

Прохор Житин, или, как все пренебрежительно называли его, Прошка был самым последним матросом. Попавший в матросы из дворовых, отчаянный трус, которого только угроза порки могла заставить подняться на марс, где он испытывал неодолимый физический страх, лентяй и лодырь, отлынивавший от работы, и ко всему этому нечистый на руку, Прошка с самого начала плавания стал в положение какого-то отверженного парии. Все им помыкали; боцмана и унтер-офицеры походя, и за дело, и так, здорово живешь, ругали и били Прошку, приговаривая: «У, лодырь!» И он никогда не протестовал, а с какой-то привычной тупой покорностью забитого животного переносил побои. После нескольких мелких краж, в которых он был уличен, с ним почти не разговаривали и обращались с пренебрежением. Всякий, кому не лень, мог безнаказанно обругать его, ударить, послать куда-нибудь, поглумиться над ним, словно бы иное отношение к Прошке было немыслимо. И Прошка так, казалось, привык к этому положению загнанной, паршивой собаки, что и не ждал иного обращения и переносил всю каторжную жизнь, повидимому, без особенной тягости, вознаграждая себя на клипере сытной едой да дрессировкой поросенка, которого Прошка учил делать разные штуки, а при съездах на берег — выпивкой и ухаживаньем за прекрасным полом, до которого он был большой охотник; на женщин он тратил последний грош и ради них, кажется, таскал деньги у товарищей, несмотря на суровое возмездие, получаемое им в случае поимки. Он был вечный «гальюнщик» — другой должности ему не было, и состоял в числе шканечных, исполняя обязанность рабочей силы, не требовавшей никаких способностей. И тут ему доставалось, так

как он всегда лениво тянул вместе с другими какую-нибудь снасть, делая только вид, как ленивая лукавая лошадь, будто взаправду тянет.

— У-у... подлый лодырь! — ругал его шканечный унтер-офицер, обещая ему ужо начистить зубы.

И, разумеется, «чистил».

IV

Забравшись под баркас, Прошка сладко спал, бессмысленно улыбаясь во сне. Сильный удар ноги разбудил его. Он хотел было залезть подальше от этой непрошеной ноги, как новый пинок дал понять Прошке, что он зачем-то нужен и что надо вылезать из укромного местечка. Он выполз, поднялся на ноги и глядел на злое лицо Игнатова тупым взором, словно бы ожидая, что его еще будут бить.

— Ступай за мной! — проговорил Игнатов, едва сдерживаясь от желания тут же истерзать Прошку.

Прошка покорно, словно виноватая собака, пошел за Игнатовым своей медленной, ленивой походкой, переваливаясь, как утка, со стороны на сторону.

Это был человек лет за тридцать, мягкотелый, неуклюжий, плохо сложенный, с несоразмерным туловищем на коротких, кривых ногах, какие бывают у портных. (До службы он и был портным в помещичьей усадьбе.) Его одутловатое, землистого цвета лицо с широким плоским носом и большими оттопырившимися ушами, торчащими из-под шапки, было невзрачно и изношено. Небольшие тусклые серые глаза глядели из-под светлых редких бровей с выражением покорного равнодушия, какое бывает у забитых людей, но в то же время в них как будто чувствовалось что-то лукавое. Во всей его неуклюжей фигуре незаметно было и следа матросской выправки; все на нем сидело мешковато и неряшливо, — словом, Прошкина фигура была совсем нерасполагающая.

Когда, вслед за Игнатовым, Прошка вошел в круг, все разговоры смолкли. Матросы теснее сомкнулись, и взоры всех устремились на вора.

Для начала допроса Игнатов первым делом со всего размаху ударил Прошку по лицу.

Удар был неожиданный. Прошка слегка пошатнулся и безответно снес затрещину. Только лицо его сделалось еще тупее и испуганнее.

— Ты сперва толком пытай, а накласть в кису успеешь!— сердито промолвил Лаврентьич.

— Это ему в задаток, подлецу! — заметил Игнатов и, обратившись к Прошке, сказал: — Признавайся, сволочь, ты у меня золотой из сундука украл?

При этих словах тупое Прошкино лицо мгновенно осветилось осмысленным выражением. Он понял, казалось, всю важность обвинения, бросил испуганный взгляд на сосредоточенно-серьезные, недоброжелательные лица и вдруг побледнел и как-то весь съежился. Тупой страх исказил его черты.

Эта внезапная перемена еще более утвердила всех в мысли, что деньги украл Прошка.

Прошка молчал, потупив глаза.

— Где деньги? Куда ты их спрятал? Сказывай! — продолжал допросчик.

— Я денег твоих не брал! — тихо ответил Прошка.

Игнатов пришел в ярость.

— Ой, смотри... до смерти изобью, коли ты добром не отдашь денег!.. — сказал Игнатов и сказал так злобно и серьезно, что Прошка подался назад.

И со всех сторон раздались неприязненные голоса:

— Повинись лучше, скотина!

— Не запирайся, Прошка!

— Лучше добром отдай!

Прошка видел, что все против него. Он поднял голову, снял шапку и, обращаясь к толпе, воскликнул с безнадежным отчаянием человека, хватающегося за соломинку:

— Братцы! Как перед истинным богом! Хучь под присягу сичас! Разрази меня на месте!.. Делайте со мной, что вгодно, а я денег не брал!

Прошкины слова, казалось, поколебали некоторых.

Но Игнатов не дал усилиться впечатлению и торопливо заговорил:

— Не ври, подлая тварь... Бога-то оставь! Ты и тогда запирался, когда у Кузьмина из кармана франок вытащил... помнишь? А как у Леонтьева рубаху украл, тоже шел под присягу, а? Тебе, бесстыжему, присягнуть, что плюнуть...

Прошка снова опустил голову.

— Винись, говорят тебе, скорее. Сказывай, где мои деньги? Нешто я не видел, как ты около вертелся... Сказывай, бессовестный, зачем ты в палубе шнырял, когда все отдыхали? — наступал допросчик.

— Так ходил...

— Так ходил!? Эй, Прошка, не доводи до греха. Признавайся.

Но Прошка молчал.

Тогда Игнатов, словно бы желая испробовать последнее средство, вдруг сразу изменил тон. Теперь он не угрожал, а просил Прошку отдать деньги ласковым, почти заискивающим тоном.

— Тебе ничего не будет... слышишь?.. Отдай только мои деньги... Тебе ведь пропить, а у меня семейство... Отдай же! — почти молил Игнатов.

— Обыщите меня... Не брал я твоих денег!

— Так ты не брал, подлая душа? Не брал? — воскликнул Игнатов с побледневшим от злобы лицом. — Не брал!?

И с этими словами он, как ястреб, налетел на Прошку. Бледный, вздрагивающий всем съежившимся телом, Прошка зажмурил глаза и старался скрыть от ударов голову.

Матросы молча хмурились, глядя на эту безобразную сцену. А Игнатов, возбужденный безответностью жертвы, свирепел все более и более.

— Полно... Будет... будет! — раздался вдруг из толпы голос Шутикова.

И этот мягкий голос точно сразу пробудил человеческие чувства и у других.

Многие из толпы, вслед за Шутиковым, сердито крикнули:

— Будет... будет!

— Ты прежде обыщи Прошку и тогда учи!

Игнатов оставил Прошку и, злобно вздрагивая, отошел в сторону. Прошка юркнул вон из круга. Несколько мгновений все молчали.

— Ишь ведь какой подлец... запирается! — переводя дух, проговорил Игнатов. — Ужо погоди, как я его на берегу разделаю, коли не отдаст денег! — грозился Игнатов.

— А может, это и не он! — вдруг тихо сказал Шутиков.

И та же мысль, казалось, сказывалась на некоторых напряженно-серьезных, насупившихся лицах.

— Не он? Впервые ему, что ли?.. Это беспременно его дело... Вор известный, чтоб ему...

И Игнатов, взяв двух человек, ушел обыскивать Прошкины вещи.

— И зол же человек на деньги! Ох, зол! — сердито проворчал Лаврентьич вслед Игнатову, покачивая головой. — А ты не воруй, не срами матросского звания! — вдруг прибавил он неожиданно и выругался — на этот раз, повидимому, с единственной целью: разрешить недоумение, ясно стоявшее на его лице.

— Так ты, Егор, думаешь, что это не Прошка? — спросил он после минутного молчания. — Кабысь больше некому.

Шутиков промолчал, и Лаврентьич больше не спрашивал и стал усиленно раскуривать свою короткую трубочку.

Толпа стала расходиться.

Через несколько минут на баке стало известно, что ни у Прошки, ни в его вещах денег не нашли.

— Запрятал, шельма, куда-нибудь! — решили многие и прибавляли, что теперь Прошке придется худо: Игнатов не простит ему этих денег.

V

Нежная тропическая ночь быстро спустилась над океаном.

Матросы спали на палубе — внизу было душно, — а на вахте стояло одно отделение. В тропиках, в полосе пассата, вахты спокойные, и вахтенные матросы, по обыкновению, коротают ночные часы, разгоняя дрему беседами и сказками.

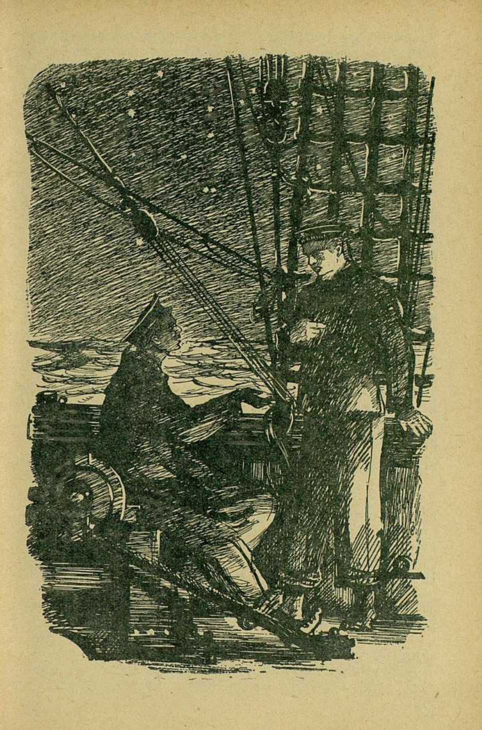
В эту ночь, с полуночи до шести, на вахте довелось быть второму отделению, в котором были Шутиков и Прошка.

Шутиков уж рассказал несколько сказок кучке матросов, усевшихся у фок-мачты, и отправился покурить. Выкуривши трубку, он пошел, осторожно ступая между спящими, на шканцы и, разглядев в темноте Прошку, одиноко притулившегося у борта и поклевывавшего носом, тихо окликнул его:

— Это ты... Прошка?

— Я! — встрепенулся Прошка.

— Что я тебе скажу, — продолжал Шутиков тихим и ласковым голосом: — ведь Игнатов, сам знаешь, человек какой... Он тебя вовсе изобьет на берегу... безо всякой жалости...



Прошка насторожился... Этот тон был для него неожиданностью.

— Что ж, пусть бьет, а я евойных денег не касался! — ответил после короткого молчания Прошка.

— То-то он не верит и, пока не вернет своих денег, тебе не простит... И многие ребята сумневаются...

— Сказано: не брал! — повторил Прошка с прежним упорством.

— Я, братец, верю, что ты не брал... Слышь, верю, и пожалел, что тебя занапрасно давеча били и Игнатов еще грозит бить... А ты вот чего, Прошка: возьми ты у меня двадцать франоков и отдай их Игнатову... Бог с ним! Пусть радуется на деньги, а мне когда-нибудь отдашь — принеизоливать не стану... Так-то оно будет аккуратней... Да, слышь, никому про это не сказывай! — прибавил Шутиков.

Прошка был решительно озадачен и не находил в первую минуту слов. Если б Шутиков мог разглядеть Прошкино лицо, то увидел бы, что оно смущено и необыкновенно взволновано. Еще бы! Прошку жалеют, и мало того, что жалеют, еще предлагают деньги, чтобы избавить его от битья. Это уж было слишком для человека, давно не слыхавшего ласкового слова.

Подавленный, чувствуя, как что-то подступает к горлу, молча стоял он, опустив голову.

— Так бери деньги! — сказал Шутиков, доставая из кармана штанов завернутый в тряпочку весь свой капитал.

— Это как же... Ах ты, господи! — растерянно бормотал Прошка.

— Эка... глупый... Сказано: получай, не кобянься!

— Получай!? Ах, братец! Спасибо тебе, добрая твоя душа! — отвечал Прошка дрогнувшим от волнения голосом и вдруг решительно прибавил: — Только твоих денег, Шутиков, не нужно... Я все же чувствую и не хочу перед тобой быть подлецом... Не желаю... Я сам после вахты отдам Игнатову его золотой.

— Так, значит, ты...

— То-то я! — чуть слышно промолвил Прошка. — Никто бы и не дознался... Деньги-то в пушке запрятаны...

— Эх, Прохор, Прохор! — упрекнул только Шутиков грустным тоном, покачивая головой.

— Теперь пусть он меня бьет... Пусть всю скулу своротит. Сделай ваше одолжение! Бейте подлеца Прошку...

жарь его, мерзавца, не жалей! — с каким-то ожесточенным одушевлением против собственной особы продолжал Прошка. — Все перенесу с моим удовольствием... По крайности знаю, что ты пожалел, поверил... Ласковое слово сказал Прошке... Ах ты, господи! Вовек этого не забуду!

— Ишь ведь ты какой! — промолвил ласково Шутиков и присел на пушку.

Он помолчал и заговорил:

— Слушай, что я тебе скажу, братец ты мой: брось-ка ты все эти дела... право, брось, ну их!.. Живи, Прохор, как люди живут, по-хорошему... Стань форменным матросом, чтобы все, значит, как следует... Так-то душевней будет... А то разве самому тебе сладко?.. Я, Прохор, не в укор, а жалеючи!.. — прибавил Шутиков.

Прошка слушал эти слова и находился под их обаянием. Никто, во всю его жизнь, не говорил с ним так ласково и задушевно. До сей поры его только ругали да били — вот какое было ученье.

И теплое чувство благодарности и умиления охватило Прошкино сердце. Он хотел было выразить их словами, но слова не отыскивались.

Когда Шутиков отошел, пообещав уговорить Игнатова простить Прошку, Прошка не чувствовал уж себя таким ничтожеством, каким считал себя прежде. Долго еще стоял он, посматривая за борт, и раз или два смахнул навертывавшуюся слезу.

Утром, после смены, он принес Игнатову золотой. Обрадованный матрос алчно схватил деньги, зажал их в руке, дал Прошке в зубы и хотел было итти, но Прошка стоял перед ним и повторял:

— Бей еще... Бей, Семеныч! В морду в самую дуй!

Удивленный Прошкиной смелостью, Игнатов презрительно оглядел Прошку и повторил:

— Я разделал бы тебя, мерзавца, начисто, кабы ты мне не отдал деньги, а теперь не стоит рук марать... Сгинь, сволочь, но только смотри... попробуй еще раз ко мне лазить... Искалечу! — внушительно прибавил Игнатов и, оттолкнув с дороги Прошку, побежал вниз прятать свои деньги.

Тем и ограничилась расправа.

Благодаря ходатайству Шутикова, и боцман Щукин, узнавший о воровстве и собиравшийся «после убирки искровянить стервеца», вместо того довольно милостиво,

относительно говоря, потрепал, как он выражался, «Прошкино хайло».

— Испужался Прошка Семеныча-то! Предоставил деньги, а ведь как запирался, шельма! — говорили матросы во время утренней чистки.

VI

С той памятной ночи Прошка беззаветно привязался к Шутикову и был предан ему, как верная собака. Выражать свою привязанность открыто, при всех, он, разумеется, не решался, чувствуя, вероятно, что дружба такого отверженца унизит Шутикова в чужих глазах. Он никогда не заговаривал с Шутиковым при других, но часто взглядывал на него, как на какое-то особенное существо, перед которым он, Прошка, последняя дрянь. И он гордился своим покровителем, принимая близко к сердцу все, до него касающееся. Он любовался, поглядывая снизу, как Шутиков лихо управляет на рее, замирал от удовольствия, слушая его пение, и вообще находил необыкновенно хорошим все, что ни делал Шутиков. Иногда днем, но чаще во время ночных вахт, заметив Шутикова одного, Прошка подходил и топтался около.

— Ты чего, Прохор? — спросит бывало приветливо Шутиков.

— Так, ничего! — ответит Прошка.

— Куда ж ты?

— А к своему месту... Я ведь так только! — скажет Прошка, словно бы извиняясь, что беспокоит Шутикова, и уйдет.

Всеми силами старался Прошка чем-нибудь да угодить Шутикову: то предложит ему постирать белье, то починить его гардероб, и часто отходил смущенный, получая отказ от услуг. Однажды Прошка принес щегольски сработанную матросскую рубаху с голландским передом и, несколько взволнованный, подал ее Шутикову.

— Молодец, Житин... Важная, брат, работа! — одобрительно заметил Шутиков после подробного осмотра и протянул руку, возвращая рубаху.

— Это я тебе, Егор Митрич... Уважь... Носи на здоровье.

Шутиков стал было отказываться, но Прошка так огорчился и так просил уважить его, что Шутиков наконец принял подарок.

Прошка был в восторге.

И лодырничать стал Прошка меньше, работая без прежнего лукавства. Бить его стали реже, но отношение к нему оставалось попрежнему пренебрежительное, и Прошку нередко дразнили, устраивая из этой травли потеху.

Особенно любил дразнить его один из шканечных, забиячный, но трусливый молодой матрос Иванов. Как-то однажды, желая потешить собравшийся кружок, он донимал Прошку своим глумлением. Прошка, по обыкновению, отмалчивался, и Иванов становился все назойливее и безжалостнее в своих шутках.

Случайно проходивший Шутиков, увидав, как травят Прошку, вступился.

— Это, Иванов, не того... нехорошо это... Чего ты пристал к человеку, ровно смола.

— Прошка у нас не обидчивый! — со смехом отвечал Иванов. — Ну-ка, Прошенька, расскажи, как ты у батюшки шильники таскал и мамзелям опосля носил... Не кочевряжься... Расскажи, Прошенька! — глумился на общую потеху Иванов.

— Не тронь, говорю, человека... — строго повторил Шутиков.

Все были удивлены, что за Прошку, за лодыря и вора Прошку, Шутиков так горячо заступается.

— Да ты чего? — окрысился вдруг Иванов.

— Я-то ничего, а ты не куражься... Ишь, тоже нашел над кем куражиться.

Тронутый до глубины души и в то же время боявшийся, чтобы из-за него не было Шутикову неприятностей, Прошка решился подать голос:

— Иванов ничего... Он ведь так только... Шутит, значит...

— А ты съездил бы его по уху, небось, перестал бы так шутить.

— Прошка бы съездил... — удивленно воскликнул Иванов, до того показалось ему это невероятным. — Ну-ка, попробуй, Прошка... Насыпал бы я тебе, вислоухому, в кису.

— Может, и сам бы съел сдачи.

— Не от тебя ли?

— То-то от меня! — сдерживая волнение, проговорил Шутиков, и его обыкновенно добродушное лицо было теперь строго и серьезно.

Иванов стушевался. И только, когда Шутиков отошел, проговорил, насмешливо улыбаясь и указывая на Прошку:

— Однако... нашел себе приятеля Шутиков... Нечего сказать... приятель... хорош приятель, Прошка гальюнщик.

После этого происшествия Прошку обижали меньше, зная, что у него есть заступник, а Прошка еще сильнее привязался к Шутикову и скоро доказал, на что способна привязанность его благодарной души.

VII

Это было в Индийском океане, на пути к Зондским островам.

Утро в тот день стояло солнечное, блестящее, но прохладное — относительная близость южного полюса давала себя знать. Дул свежий, ровный ветер, и по небу носились белоснежные перистые облака, представляя собой изящные фантастические узоры. Плавно раскачиваясь, клипер наш летел полным ветром под марселями в один риф, под фоком и гротом, убегая от попутной волны.

Был десятый час на исходе. Вся команда находилась наверху. Вахтенные стояли у своих снастей, а подвахтенные были разведены по работам. Всякий занимался каким-нибудь делом: кто оканчивал чистку меди, кто подскабливал шлюпку, кто вязал мат.

Шутиков стоял на грот-русленях, прикрепленный пеньковым поясом, и учился бросать лот, недавно сменив другого матроса. Вблизи от него был и Прошка. Он чистил орудие и по временам останавливался, любуясь на Шутикова, как тот, набравши много кругов лот-линя (веревки, на которой прикреплен лот), ловко закидывает его назад, словно аркан, и затем, когда веревка вытянется, снова быстрыми ловкими движениями выбирает ее...

Вдруг со шканцев раздался отчаянный крик:

— Человек за бортом!

Не прошло нескольких секунд, как снова зловещий крик:

— Еще человек за бортом!

На мгновение все замерло на клипере. Многие в ужасе крестились.

Вахтенный лейтенант, стоявший на мостике, видел, как мелькнула фигура сорвавшегося человека, видел, как бро-

сился в море другой. Сердце в нем дрогнуло, но он не потерялся. Он бросил с мостика спасательный круг, крикнув бросать спасательные буйки и с юта, и громовым, взволнованным голосом скомандовал:

— Фок и грот на гитовы!

С первым окриком все офицеры выскочили наверх. Капитан и старший офицер, оба взволнованные, уж были на мостике.

— Он, кажется, схватился за буек! — проговорил капитан, отрываясь от бинокля. — Сигнальщик... не спускай их с глаз!..

— Есть... Вижу!

— Скорей... скорей ложитесь в дрейф да спускайте баркас! — нервно, отрывисто торопил капитан.

Но торопить было нечего. Понимая, что каждая секунда дорога, матросы рвались, как бешеные. Через восемь минут клипер уже лежал в дрейфе, и баркас с людьми под начальством мичмана Лесового тихо спускался с боканцев.

— С богом! — напутствовал капитан. — Ищите людей на ост-норд-ост... Да не заходите далеко! — прибавил он.

Упавших в море уже не было видно. В эти восемь минут клипер пробежал, по крайней мере, милю.

— Кто это упал? — спросил капитан старшего офицера.

— Шутиков. Сорвался, бросая лот... Лопнул пояс...

— А другой?

— Житин! Бросился за Шутиковым.

— Житин? Этот трус и рохля? — удивился капитан.

— Я сам не могу понять! — ответил Василий Иваныч.

Между тем все глаза были устремлены на баркас, который медленно удалялся от клипера, то скрываясь, то показываясь среди волн. Наконец он совсем скрылся от глаз, не вооруженных биноклем, и кругом был виден один волнующийся океан.

На клипере царила угрюмая тишина. Изредка лишь матросы перекидывались словами вполголоса. Капитан не отрывался от бинокля. Старший штурман и два сигнальщика смотрели в подзорные трубы.

Так прошло долгих полчаса.

— Баркас идет назад! — доложил сигнальщик.

И снова все взоры устремились на океан.

— Верно, спасли людей! — тихо заметил старший офицер капитану.

— Почему вы думаете, Василий Иваныч?

— Лесовой не вернулся бы так скоро!

— Дай бог! Дай бог!

Ныряя в волнах, приближался баркас. Издали он казался крошечной скорлупой. Казалось, вот-вот его сейчас захлестнет волной. Но он снова показывался на гребне и снова нырял.

— Молодцом правит Лесовой! Молодцом! — вырвалось у капитана, жадно глядевшего на шлюпку.

Баркас подходил все ближе и ближе.

— Оба в шлюпке! — весело крикнул сигнальщик.

Радостный вздох вырвался у всех. Многие матросы крестились. Клипер словно ожил. Снова пошли разговоры.

— Счастливо отделались! — проговорил капитан, и на его серьезном лице появилась радостная, хорошая улыбка.

Улыбался в ответ и Василий Иванович.

— А Житин-то... трус, трус, а вот подите!.. — продолжал капитан.

— Удивительно... И матрос-то лодырь, а бросился за товарищем!.. Шутиков покровительствовал ему! — прибавил Василий Иванович в пояснение.

И все дивились Прошке. Прошка был героем минуты.

Через десять минут баркас подошел к борту и благополучно был поднят на боканцы.

Мокрые, вспотевшие и красные, тяжело дыша от усталости, выходили гребцы из баркаса и направлялись на бак. Вышли Шутиков и Прошка, отряхиваясь, словно утки, от воды, оба бледные, взволнованные и счастливые.

Все с уважением смотрели теперь на Прошку, стоявшего перед подошедшим капитаном.

— Молодец, Житин! — сказал капитан, невольно недоумевая при виде этого неуклюжего, невзрачного матроса, рисковавшего жизнью за товарища.

А Прошка переминался с ноги на ногу, видимо, робея.

— Ну, ступай, переоденься скорей да выпей за меня чарку водки... За твой подвиг представлю тебя к медали, а от меня получишь денежную награду.

Совсем ошалевший Прошка не догадался сказать «рады стараться!» и, растерянно улыбаясь, повернулся и пошел своей утиной походкой.

— Снимайтесь с дрейфа! — приказал капитан, поднимаясь на мостик.

Раздалась команда вахтенного лейтенанта. Голос его теперь звучал весело и спокойно. Скоро были поставлены

убранные паруса, и минут через пять клипер снова несся прежним курсом, подымаясь с волны на волну, и прерванные работы опять возобновились.

— Ишь ведь ты какой, блоха тебя ешь! — остановил Лаврентьич Прошку, когда тот, переодетый и согревшийся чаркой рома, поднялся вслед за Шутиковым на палубу. — Портной, портной, а какой отчаянный! — продолжал Лаврентьич, ласково трепля Прошку по плечу.

— Без Прохора, братцы, не видать бы мне свету! Как я это окунулся да вынырнул, ну, думаю — шабаш... Богу отдавать душу придется! — рассказывал Шутиков. — Не продержусь, мол, долго на воде-то... Слышу — Прохор голосом кричит... Плывет с кругом и мне буек подал... То-то обрадовал, братцы! Так мы вместе и держались, доколь баркас не подошел.

— А страшно было? — спрашивали матросы.

— А ты думал как? Еще как, братцы-то, страшно! Не дай бог! — отвечал Шутиков, добродушно улыбаясь.

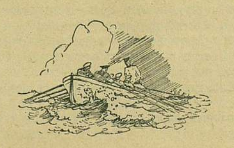
— И как это ты, братец, вздумал? — ласково спросил Прошку подошедший боцман.

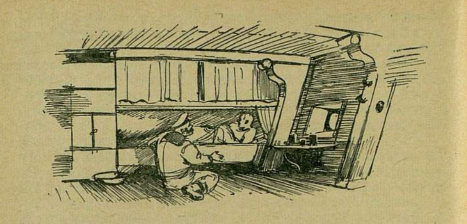
Прошка глупо улыбался и, помолчав, ответил:

— Я вовсе и не думал, Матвей Нилыч... Вижу, он упал, Шутиков, значит... Я, значит, господи благослови, да за им...

— То-то и есть!.. Душа в ем... Ай да молодца, Прохор! Ишь ведь... На-кось, покури трубочки-то на закуску! — сказал Лаврентьич, передавая Прошке, в знак особенного благоволения, свою короткую трубочку, и при этом прибавил забористое словечко в самом нежном тоне.

С этого дня Прошка перестал быть прежним загнанным Прошкой и обратился в Прохора.





Посвящается Зине.

МЕЖДУ СВОИМИ

I

Вскоре после выхода корвета в кругосветное плавание или, как говорят матросы, «в дальнюю», Иван Артемьев, совсем молодой, цветущего здоровья матрос, краснощекий красивый брюнет, лихой брамсельный[1] и загребной на капитанском вельботе, простудился поздней, ненастной осенью и серьезно занемог, схватив воспаление легких.

Болезнь затянулась. Молодой матрос, видимо, таял.

Когда, месяц спустя, корвет зашел на несколько дней в Брест, судовой врач, молодой человек, лет пять как окончивший курс в Московском университете, снова долго и внимательно выслушивал и выстукивал еще недавно богатырскую, а теперь исхудалую, с резко выступающими ребрами, смуглую грудь Артемьева и, отправившись к капитану, доложил ему, что Артемьева следовало бы списать с корвета и оставить в Бресте в морском госпитале.

— Разве он так плох, доктор?

— Очень плох... Скоротечная форма чахотки.

[1] Матрос, который ходит крепить брамсели — самые верхние паруса.

— Нет надежды спасти его?

— По моему мнению, никакой! — не без задорного апломба, присущего очень молодым врачам, отвечал доктор и принял еще более серьезный вид.

— Жаль отправлять беднягу умирать к чужим людям... Ну, да что делать! Все-таки на берегу ему будет лучше, чем у нас в лазарете. Ведь у нас в лазарете для больных скверно, а?

— Для серьезно больных нехорошо. Каюта маленькая. Воздуха мало. Удобств никаких...

— Так, так... Вы говорили об этом Артемьеву?

— Нет еще. Сегодня скажу, а завтра, если разрешите, сам свезу в госпиталь и сдам французским врачам.

Через час после этого разговора доктор, несколько взволнованный, но старавшийся скрыть это волнение, вошел в лазарет — небольшую, сиявшую чистотой каюту, помещавшуюся на кубрике. Несмотря на пропущенный в двери виндзейль, в низенькой каюте отдавало сырым, спертым воздухом и сильно пахло лекарствами. В ней было четыре койки, по две у каждой переборки, расположенные в виде нар, одна над другой. Три были пусты, а в четвертой, внизу, головою к борту судна, лежал единственный больной на корвете, матрос первой статьи Иван Артемьев.

Он лежал с широко раскрытыми, большими, блестящими черными глазами, серьезными, с выражением какой-то сосредоточенной вдумчивости, какая часто бывает у безнадежно и долго больных. Его осунувшееся смуглое лицо с заостренным носом, словно прозрачными ноздрями, с удлинившимся подбородком, черневшим щетиной небритой бороды, с характерными горевшими пятнами на впалых щеках, с выдавшимися скулами и сухими, воспаленными губами, — его лицо было спокойно, красиво и мертвенно-бледно. Сразу чувствовалось, что смерть уже сторожит это еще недавно крепкое, здоровое тело.

При входе доктора не в урочное время Артемьев приподнял с подушки голову с мокрыми у висков волосами, снова опустил ее и, перебирая край байкового белого одеяла своими восковыми пальцами, худыми и длинными, с выросшими желтыми ногтями, — вопросительно, испуганно и подозрительно повел взглядом на вошедшего.

— Ну, что, братец, все знобит? — искусственно-развязным и небрежным тоном проговорил врач, полагая, что он таким образом подбадривает больного, и в то же время чувствуя

какую-то неловкость перед этим испуганным взглядом матроса.

— Знобит, ваше благородие! А то всем, кажется, здоров. Нутренне ничего не болит, ваше благородие! — с живостью отвечал Артемьев.

И, все еще глядя на врача с подозрительной пытливостью, торопливо прибавил:

— Вот если бы от этого самого ознобу ослобониться, и опять вошел бы в силу, ваше благородие... Озноб только... не пущает.

Глухой его голос звучал надеждой. Он, видимо, употреблял усилия, чтобы казаться при докторе бодрым и не столь слабым, точно в нем бродили какие-то смутные подозрения насчет недобрых намерений доктора и больной хотел обмануть его.

Доктор, добродушный и мягкий москвич, еще не закаленный своею профессией настолько, чтобы равнодушно смотреть на людские страдания, опустив голову, чтобы скрыть невольное смущение, почему-то откашлялся и, избегая смотреть в эти пытливые, черные глаза больного, проговорил все тем же искусственно-небрежным тоном:

— В том-то и дело, братец, чтобы озноба не было... И ты, конечно, поправишься... Об этом нечего и говорить... Я не сомневаюсь...

Он на мгновение остановился, поднял голову и встретил радостный, уверенный взгляд больного.

И, несмотря на тяжелое чувство, охватившее его при этом взгляде, продолжал еще веселее и увереннее:

— Поправишься, конечно... Опять молодцом станешь, но только для этого тебе надо на берег... А на корвете, брат, плохая поправка... Понимаешь?

— Куда же это на берег? — испуганно и жалобно прошептал больной, словно бы в недоумении.

— А здесь, в Брест, в госпиталь... Там отлично... Там живо поправка пойдет... А как поправишься, тебя оттуда в Кронштадт отправят, а из Кронштадта в деревню пойдешь, к себе домой... Я тебе и бумагу такую дам.

Выходило как будто очень хорошо. Но с первых же слов доктора в глазах и в лице молодого матроса появилось выражение такого страха, отчаяния и скорби, что доктор окончил свою речь далеко не с той развязной веселостью, с какой начал.

На мгновение больной замер, словно пораженный.

Но вслед за тем он проговорил с отчаянной мольбой:

— Ваше благородие! Отец родной! Не отсылайте меня с конверта. Дозвольте остаться. Явите божескую милость!

Доктор стал его уговаривать: на берегу он скоро выздоровеет, а здесь болезнь может затянуться...

— Ваше благородие! Будьте добры... Уж ежели бог не пошлет мне поправки, дозвольте хоть умереть между своими, а не на чужой стороне!

От волнения он закашлялся. Из груди его вырывался зловещий, глухой шум и что-то внутри клокотало. Его чудные большие глаза глядели на доктора с такою мольбой, что молодой доктор, видимо, колебался.

— Но послушай, Артемьев... ведь там тебе было бы лучше!.. — снова начал он.

— На чужой-то стороне лучше? Да я там с тоски, ваше благородие, помру. Здесь — свои ребята. Пожалеют, по крайности. Слово есть с кем перемолвить... а там?.. Не погубите, ваше благородие! Дозвольте остаться! Я скоро поправлюсь, вот только в теплые места придем, и опять буду исправным матросом, ваше благородие! — молил матрос, словно бы оправдываясь и за свою болезнь, и за то, что он не может быть исправным, лихим матросом.

Взволнованный этим отчаянием, доктор почувствовал жестокость своего решения и ласково проговорил:

— Ну, ну, не волнуйся, брат... Уж если ты так не хочешь, оставайся!

Радостная, благодарная улыбка озарила мертвенное лицо Артемьева, и он с чувством произнес:

— Век не забуду, ваше благородие!

Снова доктор пошел в капитанскую каюту и, рассказавши капитану об отчаянии молодого матроса, просил теперь разрешения оставить его на корвете.

Капитан охотно согласился и заметил:

— Вот скоро в тропиках будем... Воздух чудный... Быть может, Артемьеву и лучше будет. Как вы думаете, доктор?

— К сожалению, ничто не спасет беднягу. Дни его сочтены! — с уверенностью отвечал молодой врач и даже несколько обиделся, что капитан как будто не вполне доверяет его авторитету.

— А какой славный матрос был! — пожалел капитан.

II

Когда на баке — в этом матросском клубе, где обсуждаются все явления судовой жизни, — узнали, что Артемьева хотели отправить во французский госпиталь и что затем оставили на корвете, — все матросы искренне порадовались за товарища.

Со всех сторон сыпались замечания:

— Уж коли помирать, так по крайности между своими, а не по-собачьи, у чужого забора!

— Это что и говорить... Лучше прямо в море бросить!

— Тут хоть призор есть, а там пойми, что он лопочет!

— И без попа... Так без отпущения и отдашь душу...

— Ишь ведь, что было выдумал дохтур! К французам! А еще добрый!

— Добер, а поди ж...

— Молод очень! Дохтур, а того невдомек, что матросу никак не годится умирать в чужих людях. Может, господам все равно, а российский матрос на это охоткой не согласится! — авторитетно решил старый унтер-офицер Архипов, раскуривая у кадки с водой, вокруг которой собрался кружок, свою трубчонку, набитую махоркой.

И, раскурив ее, категорически и властно прибавил:

— То-то оно и есть. И умен, и учен, а разуму мало. Нажить его, братец ты мой, надо. А то — к французам! И выходит, что дохтур сам вроде как быдто француз.

Все на минутку примолкли, точно нашедшие разгадку поведения доктора. Приговор такого авторитетного человека, как унтер-офицер Архипов, очень уважаемого матросами за справедливость, был, некоторым образом, разрешающим аккордом.

И с этой минуты наш милый судовой врач пошел у матросов под шуточной кличкой «француза».

— А что, милай человек, господин фершал, Игнат Степаныч! Разве Ванька Артемьев того... помрет?

С такими словами обратился к подошедшему фельдшеру немолодой, коренастый чернявый матрос с добродушной физиономией, сизый нос которой свидетельствовал о главном недостатке Рябкина, известного весельчака, балагура и сказочника, бесшабашного марсового, ходившего на штык-болт, и отчаянного забулдыги и пьяницы, пропивавшего, когда попадал на берег, не только деньги, но и все собственные вещи.

Фельдшер, мужчина лет около сорока, с рыже-огненными волосами, весь в веснушках, рябой и некрасивый, но считавший себя неотразимым дон-жуаном для кронштадтских горничных, сделал серьезную мину, перенятую им от докторов, заложил палец за борт своего сюртука и не без апломба ответил:

— Туберкулез... Ничего с ним, братец, не поделаешь.

— Чихотка, значит?

— Пневмония—одна форма, туберкулезис—другая. Тебе, впрочем, братец, этой мудрости не понять — не про тебя писано. Для этого тоже надо специалистом быть! — продолжал фельдшер, любивший-таки огорашивать матросов разными подобными словечками. — Могу тебе только сказать, что бедному Артемьеву недолго жить.

— Ну? — испуганно воскликнул Рябкин.

— То-то, ну! С туберкулезом не шути, братец ты мой. Он и лошадь обработает, а не то что человека.

— Ах, и жалко же, братцы, матроса! И парень-то какой душевный! — промолвил Рябкин, и обычная веселая улыбка сбежала с его лица.

И все, кто тут был, пожалели Артемьева.

— Рано, любезный, хоронишь! — строго и внушительно обратился старый унтер-офицер к фельдшеру. — Бог-то, может, не послушает вас с дохтуром, а вызволит человека.

— Да я-то что? По мне, живи на здоровье. Тут не я, наука!

— На-у-ка! — презрительно протянул Архипов. — Господь и науку обернет, ежели на то его воля...

И Архипов, сунув трубку в карман, не спеша вышел из круга.

Фельдшер только безнадежно пожал плечами. Дескать, нечего с вами разговаривать.

III

Недели через две корвет уже плыл в тропиках, направляясь к югу. Погода стояла восхитительная. На небе ни облачка. Тропическая жара умерялась ровным, вечно дующим в одном направлении мягким пассатом и свежей влагой океана.

И корвет шел да шел узлов по семи, по восьми, имея на себе всю парусину. Недаром же моряки зовут плавание в

тропиках, с пассатом, дачным плаванием. В самом деле, спокойное, благодатное плавание! Не надо и брасом шевелить, то есть менять положение парусов. И для матросов это — пора самой спокойной морской жизни. Стоят они на вахте не повахтенно, а по отделениям, и вахты самые приятные. Не приходится ждать бурь и непогод, бежать рифы брать, то уменьшать, то прибавлять парусов, словом, не приходится быть постоянно «начеку». На этих вахтах почти никакой работы. И матросы коротают их, «лясничая» между собою, вспоминая в тропиках родную сторону, развлекаясь иногда зрелищем китов, пускающих фонтаны, любуясь блестящими на солнце летучими рыбками, маленькими, далеко залетающими от берега петрелями, громадными белоснежными альбатросами и высоко реющими в прозрачном воздухе фрегатами. А в эти дивные тропические ночи с мириадами мигающих звезд, — ночи, когда вся команда спит на палубе, — вахтенные, примостившись кучками, коротают время еще более интимными воспоминаниями или сказками, которые рассказывает кто-нибудь из умелых сказочников, к удовольствию слушателей.

Вахтенный молодой офицер, весь в белом, легком костюме, ходит взад и вперед по мостику, поглядывает вперед, нет ли где огоньков идущего судна, вдыхает полной грудью прохладный воздух ночи, невольно мечтает, предаваясь воспоминаниям, и, усталый от долгой ходьбы, прислоняется к поручням, дремлет с открытыми глазами, как умеют дремать моряки, и снова начинает ходить, вновь вспоминая, быть может, кого-нибудь из близких, находящихся далеко-далеко, или пару милых глаз, кажущихся среди океана еще милее, или маленькую руку с тонкими длинными пальцами, с голубыми жилками, просвечивающими сквозь нежную белизну кожи, — руку, которую еще недавно он украдкой целовал в Кронштадте... В эти ласкающие ночи моряки, давно не бывшие на берегу, становятся несколько сентиментальны.

А корвет, плавно покачиваясь, идет себе вперед во мраке ночи, свободно и легко рассекая грудью океан с тихим гулом искрящейся брызгами воды, оставляя за собой широкую алмазную ленту, блестящую фосфорическим светом.

Иногда только эта безмолвная прелесть плавания в тропиках нарушается набегающими шквалами с проливным дождем. Приближение такого шквала внимательно сторожится зорким глазом вахтенного офицера. Посматривая в

бинокль, он вдруг замечает на далеком, только что чистом горизонте маленькое серое пятно. Оно становится все больше и больше и быстро вырастает в темную грозовую тучу, соединенную с океаном серым косым дождевым столбом, освещенным лучами солнца. И эта туча, и этот серый широкий столб стремительно несутся к корвету. Солнце скрылось. Вода почернела. В воздухе душно... Туча все ближе и ближе... Корвет уже готов к встрече внезапного гостя: брамсели убраны; марсели, фок и грот взяты на гитовы... Шквал налетел, охватил со всех сторон судно серой мглой, накренил корвет, понес его на минуту с страшной быстротой, облил всех ливнем крупного тропического дождя, помчался далее, и через минуту-другую и туча, и дождевой столб становятся все меньше и меньше и кажутся на противоположном горизонте крошечным серым пятнышком.

И снова высокое голубое небо с веселой лаской смотрит сверху. Воздух полон чудной свежести. Снова корвет поставил все паруса, и тот же мягкий, ровный пассатный ветерок несет его. Матросские рубахи уже просохли, только в снастях еще блестят капли, и снова поставленный тент защищает головы моряков от ослепительных лучей тропического солнца.

Артемьеву, казалось, стало лучше. Лихорадка мучила его с более долгими промежутками, он чувствовал себя бодрей, с аппетитом ел кушанье с кают-компанейского стола и пил по две рюмки мадеры в день. По распоряжению доктора, больного с утра выводили наверх, и он проводил там целые дни, лежа большею частью в койке, подвешенной у шкафута — на средней части судна, смотрел на обычную утреннюю чистку, на обычные передобеденные работы и учения, слушал хорошо знакомую артистическую ругань боцмана и окрики офицеров, перекидывался словами с подходившими к нему матросами, и все это его занимало, приобретая в его глазах какую-то прелесть новизны. Иногда он подолгу глядел своими большими серьезными глазами и на безбрежный, сверкавший на солнце океан, и на бирюзовую высь неба, глядел и задумывался, словно пытаясь разрешить какую-то загадку, неожиданно возникшую для него после долгого созерцания природы и каких-то новых странных дум, являвшихся во время долгой болезни.

По временам мысли его витали в воспоминаниях о далекой бедной деревушке с черными избами, о мужичьей жиз-

ни, об этом темном лесе, куда он с отцом часто ездил по ночам рубить «божий лес», который почему-то считали казенным, и тогда скорбное чувство подкрадывалось к сердцу. Он жалел своих, скорбел о тяжкой мужичьей доле, спрашивал себя, отчего бог не ко всем милостив, и снова задумывался, глядя на чудное небо, точно оно могло дать ответ...

Его часто охватывала дремота: он забывался на короткие промежутки, и ему снились сны. В этих сновидениях Артемьев был попрежнему сильный, здоровый, ретивый матрос, летавший духом на марс, крепивший брамсель или навалившийся изо всех сил на весло, когда приходилось на щегольском вельботе отвозить капитана...

И, внезапно просыпаясь, он с грустью чувствовал свою беспомощность и часто с горечью смотрел на свои исхудалые руки, ощупывал свои выдавшиеся ребра, винил доктора за то, что не входит в силу, и каждое утро с трогательной простотой молил бога, чтобы господь послал ему поправку.

Но и в «теплых местах» поправка не приходила, и больной становился все более нетерпеливым и раздражительным. Но о смерти он не думал, надеясь, что озноб «отпустит» наконец и он опять войдет в силу.

Его только удивляло особое внимание, какое ему теперь оказывали. К нему подходили офицеры и капитан и говорили добрые, обнадеживающие слова. Сам ругатель-боцман, прежде изредка «смазывавший» Артемьева по уху и часто ругавший его, теперь, напротив, нет-нет да и заглянет к нему в койку. И грубый, сиплый голос боцмана звучит непривычной для уха молодого матроса нежностью, хотя боцман как-то сердито хмурил брови, глядя на исхудалое лицо больного. Он скажет два-три слова и, уходя, прибавит:

— Ну, брат, теперь скоро и на поправку. Не рука матросу долго валяться! Бог милостив... Поправишься.

И все, он это чувствовал, как-то особенно относились к нему.

«За что?» иногда думал он, растроганный таким непривычным вниманием.

И вскоре бедняга узнал «за что», услыхав неосторожный разговор двух матросов о том, что ему, по словам доктора, жить осталось уж немного. «Слава богу, коли ден десять протянет!»

Он обомлел и как-то вдруг весь почувствовал, что это правда и что он не жилец на белом свете.

И скорбные, жгучие слезы тихо скатились с его славных глаз.

IV

Ах, какие тяжелые были эти бесконечно длинные последние ночи в маленькой душной каюте! Сна почти не было. Больной изредка забывался и снова приходил в себя и лежал неподвижно с открытыми глазами в полутемной каюте, освещенной слабым светом фонаря. Кругом тишина. Слышно лишь бульканье воды у борта да легонькое поскрипывание корвета.

Тоска, щемящая, безнадежная тоска!

Но забулдыга и пьяница Рябкин не забывал больного в его ночном одиночестве. Каждую ночь, перед вахтой или сменившись с вахты, Рябкин, лишая себя сна, осторожно входил в лазарет, присаживался на пол у койки Артемьева, успокаивал его, старался подбодрить и начинал рассказывать ему свои бесконечные сказки.

Он их рассказывал увлекательно, мастерски, с различными, им самим сочиненными вариантами и деликатно изменял конец сказки, если он был печальный или оканчивался чьей-нибудь смертью.

И молодой матрос, несколько успокоенный, слушал их и иногда дремал, убаюканный этим тихим, ритмическим кадансом сказочной речи.

Случалось, Артемьев неожиданно прерывал рассказчика и спрашивал:

— Послушай, Рябкин, что я хочу спросить...

— Что, Ваня?

— Как ты думаешь, как будет на том свете? Тяжело душе или нет?

Рябкин, никогда в жизни не думавший о таких деликатных предметах, на секунду задумывался, но со свойственной ему находчивостью быстро решал вопрос и уверенно отвечал:

— Надо, братец ты мой, полагать, что душе нашего брата будет хорошо... Господским душам будет хуже... это верно... потому им на этом свете очень даже вольготно... Ну, значит, и вали-валом, голубчики, в ад... Сделайте ваше

одолжение... Пожалуйте!.. Однако и из нашего звания тоже, я думаю, не всякий в рай... Мне, примерно, голубчик мой, давно в пекле паек готов за то, что я жру это самое винище. Небось, заставят растопленную медь глотать... А силушки нет, милый человек, бросить эту самую водку!.. Вот оно как будет на том свете! — заключил Рябкин, вполне уверенный, казалось, в правильности своих внезапных соображений насчет «того света».

Несколько секунд длилось молчание.

И молодой матрос снова заговорил:

— Тоже иной раз думается: вот умер человек, а что там?

— Да брось ты глупые мысли. Вот тоже!.. Еще, брат, мы с тобой на этом свете поживем. А как, братец ты мой, вечор боцман Ваську Скобликова звезданул! В кровь! В самую, значит, носовую часть! — круто переменил Рябкин разговор, желая отвлечь внимание товарища от грустных предметов.

Но Артемьев молчал, оставаясь равнодушен к этому сообщению. Его, казалось, уже не занимали все эти прежде интересовавшие его вещи. Все это представлялось теперь ему каким-то далеким прошлым.

— У вас на фор-брамсели вот тоже... Михайлов брамгорденя не отдал. Ну, и костил же его, брат, старший офицер сегодня. Однако всего раз съездил.

Но, вместо ответа, Артемьев вдруг сказал:

— Не хоцца помирать, голубчик, а надо. Так, видно, богу угодно, чтобы меня бросили в окиан! — прибавил он с тоской.

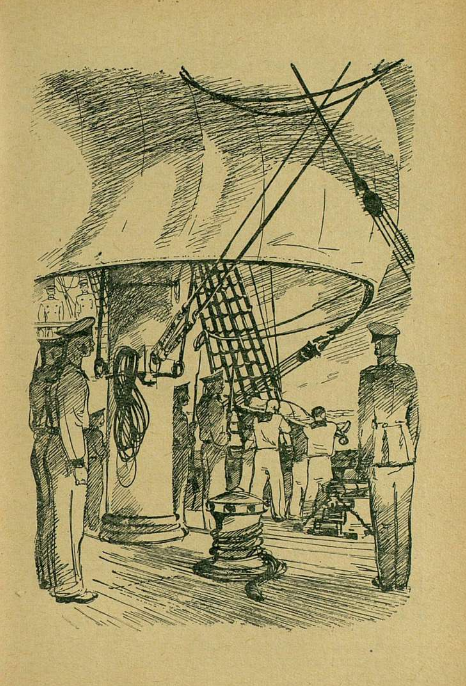
— Ведь вот глупый! С чего ты зря мелешь? Да нешто я не понимаю матросского здоровья? Отлично, братец, понимаю. Слава богу, двенадцать лет в матросах околачиваюсь... Тоже вот у нас на «Копчике» молодой матросик был и занемог, как ты. Так около году провалялся у нас на клипере, а после в такую поправку пошел, что страсть.

Но эти слова, повидимому, мало утешали Артемьева. Рябкин это чувствовал и снова начинал сказку.

— Ты бы спать шел, Рябкин.

— Спать? Да быдто неохота спать... Ужо утром выcплюсь!

— Ишь ты, сердешный... Жалеешь... Добер... Бог тебе и вино простит!



V

Корвет подходил к экватору. Артемьев доживал последние дни.

Однажды, рано утром, он попросил к себе в лазарет гардемарина Юшкова, который учил прежде Артемьева грамоте, часто разговаривал с ним, писал от него письма в деревню, к родителям, и был очень расположен к молодому матросу.

— Простите, барин, что обеспокоил... Исполните последнюю просьбу — напишите домой грамотку... Да вот вещи какие после меня останутся, так чтобы отослать, как вернетесь в Рассею...

Гардемарин стал было успокаивать его, но матрос остановил его:

— Полно, голубчик барин! Я знаю, что умру.

И он передал завернутые в тряпочку два золотых и, указывая на байковый платок, две рубахи, башмаки, вязаный шарф и еще кое-какие вещи, собранные на лазаретном столе, просил все это послать отцу с матерью.

— И отпишите им, барин, что я так и так... помер, и что завсегда был покорным их сыном и буду на том свете молиться за них и за всех хрестьян... И сестрицам, и братцам, и всей деревне нижайший поклон... Напишете, барин?

— Напишу! — отвечал гардемарин, глотая слезы.

— А другую грамотку отпишите, барин, в Кронштадт, Авдотье Матвевне Николаевой... А как вернетесь, отдайте ей вот эти гостинцы.

И он указал глазами на шелковый красный платок и маленькое колечко с поддельным камнем, купленные им в Копенгагене.

— Адрец тут же лежит на платочке... Маменька ихняя торгует на рынке... Так напишите ей, что она напрасно тогда не верила... Думала, что я так только... и все смеялась. Напишите ей, барин, что ежели я путался с другими, так от обидного моего сердца, а желанная была она одна. И напишите, что я шлю ей свой нижайший поклон, целую в сахарные ее уста и дай ей бог всякого благополучия. Напишете, барин?

— Напишу.

— А затем спасибо вам за все, добрый барин. Простимся.

Сдерживая рыдания, гардемарин поцеловал матроса и выбежал из лазарета.

VI

В ту же ночь молодой матрос умер.

Труп его одели в полный матросский костюм и ранним утром вынесли наверх, на шканцы, и положили на доске, лежавшей на козлах. Перед обедом, в присутствии капитана, офицеров и всей команды, была отслужена священником панихида. И эта служба, и это печальное пение отличного хора певчих здесь, среди безбрежного, сверкавшего океана, так далеко-далеко от родины, производили невыносимо тоскливое впечатление.

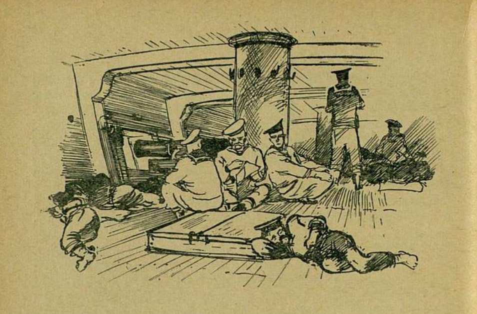
После панихиды все подходили прощаться с усопшим. Флаг с утра был приспущен в знак того, что на судне покойник.

К вечеру труп зашили в парусинный мешок, плотно охватывавший мертвое тело, к ногам привязали ядро, и после отпевания и отдачи воинских почестей, при глубоком молчании команды, четыре матроса понесли усопшего на доске к борту корвета, наклонили доску, и труп молодого матроса с легким всплеском исчез в прозрачной синеве океана.

Все разошлись в суровом безмолвии. У некоторых на глазах блестели слезы. Рябкин плакал, как малый ребенок.

А справа величественно закатывалось солнце, заливая багровым блеском далекий горизонт.





МАТРОССКИЙ ЛИНЧ

I

Клипер медленно подвигался, держась в крутой бейдевинд, под зарифленными парусами. Покачивало-таки порядочно. Шел дождь. Горизонт вокруг затянулся мглой, и по нависшему мутному небу носились черные, клочковатые облачка. Ветер дул порывами: то затихнет, то вновь заревет, проносясь заунывным воем в намокших снастях.

Уж целую неделю не выглядывало солнышко, и старший штурман волновался, что нельзя сделать обсервации и точно определиться. По счислению, мы считали себя в ста милях от Гонгконга и рассчитывали подойти к нему к полудню следующего дня.

Кутаясь в просмоленные парусинные пальтишки, матросы не отходят от своих снастей, перекидываясь изредка отрывистыми замечаниями о погоде и встряхиваясь, как утки, от воды. Вахта выдалась беспокойная. Приходилось быть постоянно начеку для встречи часто налетавших шквалов.

На мостике, одетые в дождевики, с короткополыми зюйдвестками на головах, стоят капитан и вахтенный офицер. Капитан совершенно спокоен; молодой офицер несколько возбужден. Первый раз в жизни ему доводится править такую бурную вахту, распоряжаясь самостоятельно. Ему и приятно, и жутко, и в то же время досадно, что капитан часто выходит наверх, словно не доверяя осмотрительности молодого мичмана, считающего себя уже опытным моряком после перехода Атлантического и Индийского океанов.

Капитан, переживавший в молодости точно такие же чувства, отлично понимал состояние юноши-офицера и не вмешивается в его распоряжения, хотя зорко наблюдает за всем. Особенно часто и пристально всматривается он в горизонт.

Вон там, на склоне неба, что-то чернеет, растет в грозовую тучу и, отделившись от горизонта, серым, быстро движущимся, широким столбом приближается к клиперу с наветреной стороны.

Это несется шквал с дождем.

Громким, чересчур громким, слегка вибрирующим голосом офицер несколько рано командует убрать паруса и, стараясь подавить волнение, невольно охватившее его при виде грозного шквала, принимает небрежную посадку лихого, ничего не боящегося моряка.

Паруса взяты «на гитовы» (убраны), и маленькое судно с оголенными мачтами готово к встрече врага, предоставляя его ярости меньшую площадь сопротивления.

Срывая и крутя перед собой седые гребешки волн, шквал бешено нападает на клипер, охватывая его со всех сторон проливным дождем и мглой. Яростно шумит он в рангоуте, гудит во вздувшихся снастях, кладет судно набок и несколько секунд мчит его с захватывающей дух быстротой, так что кругом видна только одна кипящая пена.

Шквал пронесся, и мгла рассеялась. Клипер приподнялся и пошел тише. Некоторые из молодых матросов, преувеличившие в страхе опасность, набожно перекрестились с облегченным вздохом.

Снова раздается звучный голос вахтенного офицера. Снова натягиваются паруса, и клипер попрежнему покачивается с боку на бок на неправильном волнении, легонько поскрипывая своими членами.

— Я поторопился немного убрать паруса, Павел Нико-

лаевич? — обращается к капитану мичман, несколько смущенный.

Ему кажется, что капитан должен был заметить его трусость перед шквалом.

— Отлично распорядились... молодцом!.. Всегда лучше убрать раньше, чем позднее! — проговорил с обычной приветливостью капитан и, спускаясь вниз, прибавил:

— Если засвежеет — дайте знать... Впрочем, навряд ли засвежеет. Барометр подымается.

II

В то самое время, как наверху посвистывал ветер и усталые, измокшие под дождем вахтенные матросы мечтали о смене, подвахтенные отдыхали внизу, время было послеобеденное, и матросы безмятежно спали. Все пространство кубрика и нижней палубы, все укромные местечки около мачт и трубы были заняты лежащими врастяжку людьми. Несмотря на парусинные «виндзейли», пропущенные сверху в открытые люки для притока свежего воздуха, в палубе стоял тяжелый запах. Пахло жильем, сыростью и смолой. Громкий храп шести десятков матросов, только что плотно пообедавших, раздавался на все лады из конца в конец.

Не все, впрочем, спали. Некоторые из матросов, «похозяйственнее», воспользовавшись досугом, справляли свои делишки: кто чинился, кто тачал сапоги, кто занимался шитьем. Несколько человек сушили у «камбуза» (судовая кухня) смокшие бушлаты, слушая, как вестовые, перемывавшие тарелки, рассказывали офицерскому «коку» (повару) о том, что господа «нонче очень одобряли» обед.

— Только один Мурашкин фыркал... Он уж у нас завсегда — что ни подай — все «фуй» да «фуй»! Одно слово, «фуйка»! — насмешливо заметил один из вестовых.

— «Фуйка» и есть! — повторили вестовые и засмеялись, видимо, довольные прозвищем, которым они окрестили младшего штурмана за его постоянное привередничание, вызываемое не столько недовольством, сколько желанием показать, что он обладает тонким гастрономическим вкусом.

— На берегу, поди, трескал подошву под соусом из водицы и облизывался, а теперь фордыбачит, — сердито проговорил повар. — И хучь бы толк в кушанье понимал, а то так только... Так прочие были довольны?

— Очинно даже довольны... Старший офицер два раза жаркова накладывал... Скусное, говорит... А дохтур пирожки хвалил... С десяток их слопал Карла Карлыч!

Уютно примостившись у трубы и упираясь босыми ногами в плинтус машинного люка, пожилой рябоватый матрос с серьгой в ухе с сосредоточенным, строгим видом облаживал новый парусинный башмак, напевая себе под нос приятным голосом какой-то однообразный, заунывный мотив без слов. По временам он оставлял работу и, оглядывая со всех сторон здоровенный башмак, любовался им с чувством удовлетворения, выражавшимся тихой улыбкой в чертах его загорелого, энергического лица. Затем лицо его снова принимало обычное выражение строгого спокойствия человека, видавшего виды, и он принимался работать и подпевать, ухищряясь искусно строчить, несмотря на качку. Это — Василий Федосеич Федосеев, исправный баковый матрос, пошедший третий раз в «дальнюю», влиятельный среди команды. В знак уважения его все зовут Федосеичем, хоть он и не унтер.

Рядом с ним, лежа навзничь, с раскинувшимися по бокам руками, сладко храпел молодой черноволосый плотный матрос Аксенов, из рекрут, первый раз попавший в море. Он был из одной деревни с Федосеичем и в качестве земляка пользовался покровительством бывшего односельца, не забывшего еще деревни и любившего поговорить о ней с молодым матросиком.

Громко всхрапнув, Аксенов вдруг проснулся. Его румяное, здоровое курносое лицо, блестевшее масляным налетом, улыбалось еще блаженной сонной улыбкой, которая бывает у людей после приятных сновидений. Он потянулся, сладко позевывая и щуря свои большие тюленьи глаза, и, повернув голову, стал смотреть, как Федосеич работает.

— А важные башмаки будут, — промолвил наконец он.

— Чего не спишь? Спи себе знай, Ефимка! Еще не свистали вставать. Ночью на вахте не разоспишься... Лучше загодя отоспись! — ласковым тоном проговорил Федосеич, не отрываясь от работы.

— Будет... важно выспался... Однако, покачивает, — заметил он, присаживаясь.

— Есть-таки маленько... Это кто тебя так, Ефимка? — вдруг спросил Федосеич, увидав под глазом у своего земляка свежий подтек.

— Известно, кто... Все он, чорт лупоглазый... боцман!

— Однако, здорово он тебя, братец ты мой, звезданул! Ишь ты... Чуть-чуть не потрафь, в самый бы глаз! — продолжал Федосеич, внимательно оглядывая синяк. — За что он тебя?

— Вовсе зря... право, зря! — оживленно заговорил Ефимка, припоминая недавнюю обиду. — Небось, знаешь, как он с нашим братом... вовсе обижает... Даром, что приказано народ не бить и господа не дерутся, а он...

— Ты не мели пустова, Ефимка! — строго остановил его Федосеич. — Иным разом, если за дело, нельзя и не съездить... Такая уж его должность... Ты толком-то сказывай: за что?

— Как есть задарма, Федосеич... Просто ни за что. Парус даве, значит, убирали... Ему и покажись, что долго... Он и пошел чесать морды... А я вовсе и не касался паруса-то... Так по путе, значит, меня свистнул... С сердцов.

— Не врешь, Ефимка?

— Чего врать-то... Хучь у ребят спроси... Все видели.

Федосеич помолчал, потом тихо покачал головой и раздумчиво промолвил:

— Куражится Нилыч... Не слушает, что ему люди говорят...

— Совсем озверел нонче... Вечор тоже вот меня огрел по спине, а Леонтьева в морду съездил! — жаловался Ефимка.

Старший офицер, проходивший из подшкиперской каюты в кают-компанию, показался в это время из-за трубы. Он слышал жалобы молодого матроса и, подойдя к нему, спросил, показывая пальцем на глаз:

— Это что у тебя, Аксенов?

Матрос мигом вскочил и застенчиво отвечал:

— Зашибся, ваше благородие!

— Гмм... Зашибся?.. — промолвил с улыбкой старший офицер и, не расспрашивая более, пошел прочь.

— Уж этот Щукин! — прошептал он, входя в кают-компанию.

— Это ты правильно, Ефимка! Ай да молодец! Из тебя настоящий матрос выйдет! — одобрял Федосеич. — Что дрязгу-то заводить да кляузничать... Это последнее дело... Мы лучше Нилыча сами проучим, по-матросски! — значительно проговорил Федосеич, понижая голос.

— Боцмана!? Да как его проучишь... боцмана-то? — изумился молодой матрос.

— Уж это не твоя забота, как их учат!.. А ну-кась примерь, Ефимка! — продолжал Федосеич, передавая Аксенову башмак.

Ефимка обулся, прошел несколько шагов и, возвращая башмак, весело проговорил:

— В самый раз, Федосеич!.. И ноге в нем вольно...

— А главное — как сшито... Ты это погляди, Ефимка!

Ефимка поглядел и нашел, что важно сшито.

— Износу им не будет... Строчка двойная, и на подметке хороший товар. Ужо в Гонконг придем, пустят на берег — оденешь... Да смотри, Ефимка, насчет того, что мы о боцмане говорили, никому не болтай! — внушительно прибавил Федосеич, снова принимаясь за работу.

В тот же вечер Федосеич о чем-то таинственно совещался с несколькими старыми матросами.

III

Гроза молодых матросов, боцман Щукин, коренастый, приземистый, пучеглазый человек лет пятидесяти, с кривыми ногами, обветрившимся красным лицом цвета грязной моркови и с осипшим от ругани и пьянства голосом, только что прикончил свои неистощимые вариации на русские темы, которыми он услаждал слушателей на следующий день с раннего утра по случаю уборки клипера. За ночь стихло, кругом прояснилось, уборка кончена, и Щукин, заложив за спину свои просмоленные руки, с довольным видом осматривает якорные стопора, предвкушая заранее близость единственного своего развлечения: съехавши на берег, нализаться до бесчувствия.

На эти развлечения старого боцмана смотрят сквозь пальцы ввиду того, что Щукин знающий свое дело и лихой боцман. И если на берегу он обнаруживает слабости, недостойные его звания, зато на судне держит себя вполне на высоте положения: всегда трезв; боясь соблазна, не пьет даже казенной чарки, исполнителен и усерден, солиден и строг, на службе — собака, ругается с артистичностью заправского боцмана старых времен и тщательно соблюдает свой боцманский престиж.

Увы! Весь этот престиж пропадал, как только Щукин ступал на берег.

Отправлялся он всегда нарядный. Для поддержания чести русского имени он обыкновенно надевал собственную щегольскую рубаху с голландским вышитым передом, поверх которой красовалась цепь с серебряной боцманской дудкой, полученной им в подарок от старшего офицера; обувал новые сапоги со скрипом; повязывал свою короткую жилистую, побуревшую от загара шею черной шелковой косынкой, пропуская концы ее в серебряное кольцо; ухарски надевал на затылок матросскую фуражку без картуза, с черной лентой, по которой золотыми буквами было вытиснено название клипера, и брал в руки, больше, я думаю, из национальной гордости, чем из необходимости, носовой платок, который обратно с берега никогда не привозил.

В таком великолепии, тщательно выбритый, с подстриженными короткими щетинистыми усами, посматривая вокруг с видом именинника и не выпуская из рук носового платка, Щукин садился на баркас и, ступив на берег, шел немедленно в ближайший кабак.

С берега Щукин обыкновенно возвращался в истерзанном виде, не вязавши лыка, тихий, молчаливый и покорный. Случалось, что его привозили в виде тела, со шлюпки поднимали наверх на веревке и уносили в его каюту.

Наутро он снова напускал на себя важность, был еще суровее на вид и, словно в отместку за вчерашнее свое унижение, ругался с бо́льшим усердием, чаще ошпаривал линьком подвернувшегося под руку какого-нибудь молодого матроса и в этот день, как говорили матросы, был особенно «тяжел на руку».

Дальше ближайшего от пристани кабака Щукин (по крайней мере, в трезвом виде) не был ни в одном из иностранных портов, посещенных клипером, что, однако, не мешало ему отзываться о них со снисходительным презрением.

— Ничего нет хорошего... Так, слава одна — заграница! — рассказывал он безразлично обо всех чужих землях. — Против наших городов ничего не стоят... И народ не тот... То ли дело наша Россия... Недаром сказано: наша матушка Россия всему свету голова!

Он убежден был в преимуществе России так же непоколебимо, как и в том, что без линька и без боя матроса

не выучить и не «привести в чувство». Эта философия была так твердо усвоена Щукиным, основательно прошедшим в течение двадцатилетней службы прежнюю школу линьков и битья, что когда, в начале нашего плавания, было приказано боцманам и унтер-офицерам бросить линьки и не драться, — Щукин не верил своим ушам.

— Это как же теперче?.. Не смей и проучить человека?.. Какой же после этого я буду боцман, если не могу дать по уху! — ворчал он, беседуя с унтер-офицерами на баке. — Чудеса пошли... Прежде этого на флоте не было!

В конце концов он порешил, что все эти новые порядки — одно баловство: нельзя матросу жить без страха, и, несмотря на приказание, нередко-таки учивал людей по-своему, так что молодые матросы боялись боцмана, как огня. Уже несколько раз Василий Иваныч грозил Щукину, что его разжалуют, если он будет свирепствовать. Щукин молча, насупившись выслушивал, крепился день-другой — и снова дрался, хоть и не с прежнею откровенностью, а так, чтоб не заметили офицеры.

— Ой! Нилыч, не куражься... Не обижай людей зря! — нередко говорили ему в начале плавания старые матросы, пьянствуя вместе с боцманом на берегу. — Боцман ты — надо правду говорить — хороший, но только бестолку мордобойничаешь... Ты это оставь, Нилыч...

— А я что же, по-вашему... кляузы заводить должен, что ли?.. За всякую малость жаловаться?.. Ни в жисть на это не пойду... Я, братцы, коренной матрос!.. Встарину, небось, боцмана кляузами не занимались... На своего брата не жаловались... Сами учивали... Если драться с рассудком — никакой вреды нет... Это верно я вам говорю.

— То-то ты иной раз без рассудка дерешься, Нилыч...

Щукин обещал драться с рассудком и скоро нализывался вместе, раскисая от вина, со своими советниками.

Возмущенный новыми порядками, заведенными на клипере, старый боцман слегка фрондировал, посмеиваясь над ними, и любил вспоминать, как прежде «учили нашего брата», какой оттого был во флоте порядок. Увлекаясь этими воспоминаниями, он не без красноречия рассказывал иногда в интимном кружке историю своих двух вышибленных передних зубов, как бы доказывая собственной особой справедливость взгляда, что если «бить с рассудком, то вреды не будет».

Достойно удивления было то, что о виновнике крушения своих зубов Щукин вспоминал с самою любовною и почтительною восторженностью, с какой обыкновенно вспоминают о людях, не вышибающих, по меньшей мере, зубов. Но в глазах Щукина этот самый командир Василий Кузьмич Остолопов («царство ему небесное!») был именно каким-то недосягаемым идеалом и олицетворением всех совершенств и качеств, необходимых, по мнению боцмана, настоящему начальнику. Рассказывая о нем, Щукин даже приходил в пафос, создавая из покойника какое-то мифологическое божество матросского Олимпа.

— Одно слово... лев был! — восторгался Щукин, теряясь в эпитетах. — Выйдет это он бывало наверх, так всякий чувствует... Взглянет — орел! Или, например, паруса крепить... У него, братец ты мой, положение было, чтобы в три минуты, а ежели на один секунд позже на каком-нибудь марсе, сичас всех марсовых вниз и на бак... Как всыпят всем по сту линьков, небось, в другой раз не опоздаешь... И работали же у нас на «Фершанте»![1] Первым в эскадре корабль был... Работа горела... Не матросы, а черти были... лётом летали... У него чтобы матрос ходил с прохладцей — нет, брат!.. Он все насквозь видел... Стоит, это, на юте, заложив за спину руки, да как вдруг заметит неисправку — сам несется на бак грозой и давай чесать... Раз, два, три!.. Одному в ухо, другому, третьему, да как отчешет десятка два, будешь, голубчик, помнить. Шалишь... И рука ж была у него!.. К-а-а-а-к саданет — в глазах пыль с огнем — и морду вздует... Знали его руку-то!.. — с восторгом говорил Щукин, показывая наглядно, какая у Остолопова была рука. — Зато насчет службы, насчет чистоты и был порядок. Матрос на корабле в струне ходил, остерегался... Офицеров боялись, боцманов боялись, не то, что нонче... Ты ему слово, а он тебе два. Книжек этих для грамоты, небось, не раздавали, матрос жил в страхе, не умничал... почитал, как следует, начальство. А спустили тебя на берег — гуляй, значит, во-всю, — взыску не было. «Никак, — говорит, — без этого невозможно российскому матросу, чтобы он да за свои за труды на берегу не нахлестался вдребезги!» И стоит бывало наш Василий Кузьмич да приветно усмехается, глядючи, как пьяную матрозню, ровно баранов, с баркаса

[1] Так называли матросы корабль «Ла-Фершампенуаз».

поднимают на гордешке... Небось, он в том сраму не видел... Не то, что как нонче прочие другие командиры, — угрюмо прибавлял старый боцман, пуская шпильку по адресу нашего капитана.

— Он с большим умом был, Остолопов-то наш... — восторженно продолжал Щукин. — Понимал, что матросу лестно покуражиться на сухом пути... Ну, и сам не брезговал напитками... Любил!..

— Многие встарину любили... — вставлял, смеясь, фельдшер.

— То-то любили... Но только с Василием Кузьмичом никому не сравняться... Он, я вам скажу, и насчет вина чорт был! Графина три, а то и четыре, за день выдует этой самой марсалы, и хоть бы в одном глазу! Выйдет к вечеру наверх — так только маленечко с лица будто побагровеет да ругается позатейней... Он на это выдумщик был!.. Поэтому мы бывало и примечали, что орел-то наш намарсалился! А стоит на ногах, как вкопанный... глаз чистый... Что уж и говорить! Во всех статьях — орел!..

— А за что он вам, Матвей Нилыч, нанес повреждение действием? — галантно спрашивал бывало фельдшер, желая доставить боцману удовольствие рассказать вновь давно известную всем слушателям историю о двух вышибленных зубах.

При этом вопросе Щукин неизменно оживлялся, и на лице его появлялась заранее улыбка, словно он готовился рассказать о самом приятном воспоминании в своей жизни.

— За что? По-настоящему, мне бы следовало прямо всю скулу своротить на сторону да спину вздуть, а не то что два зуба!.. Вот что мне следовало, если говорить по совести... Свезли, видишь ли, братец ты мой, мы утром, как теперь помню, командира на Петровскую пристань... Он, как водится, прыг с вельбота и на ходу проговорил, в котором, значит, часу за ним приезжать... Мне и послышься, что к шести... я у него вельботным старшиной был... Ладно. Без четверти в шесть пристаем мы к пристани, глядим, а он ходит по ней взад и вперед да плечиками подергивает: в сердцах, значит, был... Тут я и вспомнил, что как будто он велел не к шести, а к пяти часам быть... Как взошло это в ум, так, братец ты мой, сердце во мне и захолонуло... по спине мурашки забегали... Целый ежели час я командира заставил дожидаться... Василия Кузьмича...

льва-то нашего! Можешь ты это как следовает понять, а? Тогда ведь не по-нонешнему: «виноват — запамятовал!» Тогда, любезный мой, порядок любили форменный... За один секунд бывало шкуру спускали, а не то что как еже-ли целый час...

На этом месте рассказа Щукин всегда делал ораторскую паузу, как бы для того, чтобы слушатели имели возмож-ность надлежащим образом проникнуться сознанием тя-жести его преступления и могли затем еще лучше оце-нить великодушие покойного капитана.

— Хорошо... Подошел это он к вельботу, поманул меня перстом и отошел в сторону... Вижу — грозен... Я, значит, ни жив ни мертв, к ему. Подошел и смотрю ему прямо в глаза. Он любил, чтобы матрос ему завсегда с чистым сердцем в глаза глядел. А он воззрился на меня, ничего не говорит да вдруг — бац! бац! Два раза всего-то кулаком в зубы, да так, что быдто цокнуло что-то А надо тебе сказать — на указательном персте Василий Кузьмич завсегда носил брильянтовый супир. От государя императора пожа-лован. Так самым этим, значит, супирчиком он и цокнул. В глазах — пыль, но только я как следовает стою, этак грудью вперед, и весело ему смотрю в зрачки. Жду еще бою! Однако он более не захотел. «Пошел, — гово-рит, — собачий сын, на шлюпку!» и сам следом сел. «Отваливай!» Отвалили. Я изо всей мочи наваливаюсь — гребцы у нас наподбор! — а сам, однако, думаю: «Это, мол, только одна закуска была, какова-то настоящая рас-правка на корабле будет. Не меньше как два ста линьков прикажет для памяти всыпать». Вельбот ходом идет, скоро и корабль наш. Он, насупившись этак, поглядывает на меня, увидал, значит, как изо рту у меня кровь капелью каплет... Хорошо. Пристали к кораблю. Встал и ко мне обратил голову. «Что, — спрашивает, — целы ли у тебя, у подлеца, зубы?» — «Не должно быть целы,ваше-скобродие!» Это я ему, потому чувствую, что во рту словно каша. Усмехнулся, — и что бы ты думал!? Заместо того, чтобы меня, подлеца, приказать отодрать, как сидо-рову козу, он, голубчик-то мой, выходя, говорит: «Пей за меня чарку водки да вперед, — говорит, — прочищай ухо!» — «Покорно благодарю, вашескобродие!» гарк-нул в ответ да тут же и зубы сплюнул в радости. А на другой день призвал меня к себе. «Молодцом, — говорит, — бой выдерживаешь, бабства, — говорит, — в

тебе нет, как есть бравый матрос. За то, — говорит, — я тебя унтерцером жалую. Смотри, не осрами меня!..» И как это он похвалил за мое усердие, так я даже вовсе обалдел. Кажется, прикажи он мне за борт броситься, так я со всем бы удовольствием!.. Вот каков был! Умел и строгостью, и лаской, коли ты стоишь. Старинного веку командир был. Господь и смерть ему легкую сподобил... ударом помер. Играл, сказывали, в карты, маленько нагрузившись, да вдруг под стол... Бросились подымать, а батюшка-то Василий Кузьмич уж не дышит... Царство ему небесное, голубчику! — прибавлял умиленный Щукин осеняя себя крестным знамением.

IV

Утренние работы окончены. Одиннадцатый час на исходе — скоро обедать. В ожидании приятного свиста дудок, призывающих к водке, матросы высыпали на палубу и толпятся на баке, разбившись по кучкам. Только что убрали паруса, и клипер довольно ходко шел под парами навстречу прямо дующему в лоб ветру, мешавшему итти под парусами. Волнение стихало, из-за туч выглядывало по временам солнце, и штурман был доволен: обсервация была взята. Оказалось, что мы будем на месте не ранее вечера.

Усевшись на лапе якоря, боцман, окруженный избранными лицами баковой аристократии: баталером, подшкипером, фельдшером и двумя писарями, рассказывал про китайцев.

— Совсем подлый народ! — говорил боцман, указывая пальцем на встречавшиеся джонки. — Всякую нечисть, шельмы, трескают. И крысу, и собаку, и лягушку, и стрекозу... что ему ни дай, все жрет... Хлебушка-то у них нету... рис один, они и рады всякому дерьму. И вороваты, канальи... Чуть не догляди — объегорит, — даром, что длиннокосый. Когда я первый раз ходил в дальнюю на «конверте» (корвете) и были мы в этих самых местах китайских, так раз ночью, братец ты мой, — мы в Шангае стояли, — подъехала на шлюпчонке китайская морда, и что бы ты думал?.. Медную обшивку вздумал было, желторожий, отдирать... Уж жиганули же мы его, подлеца! — с веселым смехом рассказывал Щукин. — А пьют сулю

какую-то, вроде будто водки, из риса гонят... Нальет себе, собачий сын, в чашечку с наперсток и куражится... Просто тошно на них, подлецов, глядеть... Одно слово — идолы!

— Ишь, лупоглазый-то наш зубы скалит! — развязно заметил рыжий, в веснушках, франтоватый матрос из кантонистов, подходя к Аксенову и подмигивая плутоватыми, бойкими глазами на боцмана.

— Он завсегда веселый перед берегом.

— Чует, что скоро нахлещется, как свинья... А я, братец, о чем хотел было попросить тебя, Ефимка! — заискивающим голоском продолжал рыжий.

— Ну?

— Дай ты мне в долг доллер, как ежели нас на берег отпустят... Совсем, брат, прогулялся...

Аксенов несколько времени молчал и наконец нерешительно отвечал:

— Ты бы у кого другого взял, Леонтьев... право... Хоцца рубаху купить.

— Глупый ты... Зачем тебе рубаху?.. И тут вовсе нет хороших рубах... Ты рубаху лучше в Японии купишь... Там так, сказывают, рубахи!.. Дай, пожалуйста... Через месяц отдам... право, отдам... — упрашивал Леонтьев.

— И прежние отдашь?

— Все сразу отдам... будь в надежде! — продолжал Леонтьев, глядя жадным взором на потупившегося товарища.

После некоторого колебания Аксенов пообещал, и Леонтьев весело заметил:

— Вот спасибо... Вижу, что настоящий приятель... Ужо погуляем в Гонконге! С Якушкой пойдем... Он бывал здесь.

— Ишь ведь... тоже люди! — дивуется Аксенов, глядя на близко проходившую джонку, на палубе которой толпились китайцы. — Сколько, подумаешь, разного-то народа у господа! То малайцы были, а теперь китайцы пошли...

— Все один фасон — нехристь дикая! — с равнодушным пренебрежением кинул в ответ Леонтьев, считавший за признак хорошего матросского тона ничему не удивляться. — А ты, Ефимка, дурак! — несколько спустя проговорил он. — Чего вчера, как старший офицер спрашивал, ты не сказал про этого дьявола? По крайности, было б ему,

на орехи! Будь у меня на морде такая цаца, как у тебя, я беспременно бы сказал: «так и так, мол, ваше благородие, безвинно через боцмана Щукина пострадал»! А то — «зашибся»!

— Чего жалиться! Ему и так будет! — промолвил Аксенов, стараясь придать себе важный вид.

— Уж не от тебя ли? — рассмеялся Леонтьев.

Аксенову очень хотелось посвятить приятеля в тайну вчерашнего разговора с Федосеичем, тем более, что он и сам хорошо не понимал, на что именно намекал старый матрос. Он, однако, вспомнил наказ Федосеича не болтать, но, воздерживаясь от искушения, все-таки загадочно прошептал:

— Небось, люди проучат!..

— Люди! — передразнил Леонтьев. — Какие это люди? Кто может проучить этого подлеца, кроме начальства?.. Ах, какая ты еще необразованная деревня, Ефимка, как я посмотрю! — с сожалением заметил Леонтьев. — Ударь он меня безвинно, да если со знаком, я бы нарочно на глаза капитану попался... Я бы не так, как ты... небось!.. А то — «люди»!

Аксенов, считавший обращение и ухарские манеры Леонтьева за образец матросского совершенства и старавшийся подражать ему во всем, был задет за живое, что его считают «деревней», и с сердцем возразил:

— Что ж ты-то не жалуешься... Вечор он тебя по уху тоже огрел!..

— То-то... без знаку... я говорю, а ежели бы оказал знак... он бы помнил Леонтьева! — бахвалился матрос, видимо, рисуясь и восхищая своими манерами простоватого товарища... — Эй, послушай, Антонов! — обратился он к проходившему вестовому старшего офицера. — Как у вас слышно, когда в Гонконге будем?

— К вечеру, не раньше! — отвечал на ходу вестовой, спешно направляясь на бак. — Старший офицер вас к себе требует, Матвей Нилыч! — проговорил Антонов, подходя к боцману. — В каюте они...

Щукин оборвал разговор и рысцой побежал вниз. Перед входом в кают-компанию, он снял фуражку и вошел туда нахмуренный, осторожно ступая по клеенке. Не любил он, когда Василий Иванович требовал его к себе в каюту. «Верно, опять насчет вина шпынять будет!» подумал, морщась, боцман, просовывая свою четырехугольную, ко-

ротко остриженную рыжую голову в каюту старшего офицера и затворяя за собой двери.

— Ты опять дерешься, Щукин, а? — строго проговорил Василий Иванович, хмуря брови.

Вылупив свои бычачьи глаза на старшего офицера, боцман угрюмо молчал, нервно пошевеливая усами.

— Смотри, Щукин, не выводи меня из терпения... Понял?..

— Понял, ваше благородие! — сурово отвечал боцман и хотел было уходить.

— Постой!.. Который раз я тебе говорю, чтоб ты докладывал мне, если матрос провинится, а не расправлялся бы сам? Слышишь?

— Слушаю, ваше благородие! — еще суровее промолвил боцман. — Но только как вам будет угодно, а за каждую малость не годится беспокоить ваше благородие... Тогда матросы вовсе не будут почитать боцмана! — решительно заявил Щукин обиженным тоном.

— Ты и не беспокой по пустякам, — проговорил, смягчаясь, Василий Иваныч, чувствовавший слабость к старому боцману, — но только не очень-то давай своим рукам волю... Ты любишь это... знаю я. Ну, за что ты прибил Аксенова? Полюбуйся, какой у него фонарь... Срам! Ты ведь боцман, а не разбойник! — прибавил Василий Иваныч, снова принимая строгий, начальнический тон.

Щукин опять упорно молчал.

— Нагрубил он тебе, что ли?

— Никак нет, ваше благородие!

— Неисправен был?

— Матрос он исправный, ваше благородие!

— Так за что ж ты его прибил, скотина? — воскликнул, вспыливши, Василий Иваныч.

— Матрос он еще глупый, ваше благородие!.. Не обучен как следовает...

— Ну?..

— Для острастки, значит, ваше благородие, чтобы понимал! — проговорил Щукин самым серьезным, убежденным тоном.

— Для острастки подшиб глаз?

— Насчет глаза, осмелюсь доложить, по нечаянности, ваше благородие! — прибавил боцман как бы в оправдание, снова принимая угрюмое выражение.

— Слушай, Щукин! Последний раз тебе говорю, чтобы

ты людей у меня не портил! — строгим голосом начал Василий Иваныч, подавляя невольную улыбку. — Ведь стыдно будет, как тебя разжалуют из боцманов?..

Щукин сердито молчал.

— Как ты полагаешь?

— Не могу знать, ваше благородие.

— А дождешься ты того, что узнаешь, если не перестанешь разбойничать. Ступай! — резко оборвал старший офицер.

Боцман исчез из каюты. Когда он поднялся на палубу, никто и не подумал бы, что его только что «разнесли» — до того важен и суров был вид у Щукина. Только лицо его побагровело сильнее, да глаза еще более выкатились.

— Видишь, боцман идет! Посторониться, что ли, не можешь... сволочь! — крикнул Щукин, намеренно задевая плечом Аксенова и поводя на него презрительным взором.

Молодой матрос отскочил в сторону.

— Жаловаться, подлец! — прошептал, проходя далее, Щукин, сжимая кулак и ощущая сильное желание заушить Аксенова в отместку за поступок, недостойный, по мнению боцмана, порядочного матроса.

— Так выучат люди, Ефимка? — подсмеялся Леонтьев.

В эту минуту и сам Аксенов усомнился, чтобы нашлись люди, которые могли бы проучить грозного боцмана.

— Зачем это вас, Матвей Нилыч, старший офицер требовал? — полюбопытствовал баталер, когда боцман пришел на бак.

— Насчет работ, значит, говорили... — усиленно-небрежным тоном отвечал боцман.

— Верно, что к вечеру в Гонконг придем?

— Должно, к вечеру...

— А долго простоим, Матвей Нилыч?

— Еще неизвестно... Об этом у нас разговору не было! — с важностью молвил Щукин и прибавил: — Однако сейчас и обедать... Водку несите!

Колокол пробил шесть склянок (одиннадцать часов), и с мостика раздалась команда: «Пробу подать!».

Через минуту кок в белом колпаке и чистом переднике вынес маленький поднос с двумя деревянными чашками, ложкой и сухарем. Приняв поднос, Щукин, сопровождаемый коком, торжественно понес пробу. Кок остановился на шканцах, а боцман, поднявшись на мостик, где в это время, кроме вахтенного офицера, находились капитан и

старший офицер, подал пробу вахтенному офицеру, официально приложив растопыренные пять пальцев к виску. С тою же официальностью вахтенный передал пробу старшему офицеру, который, в свою очередь, подал ее, прикладываясь свободной рукой к козырьку фуражки, — капитану.

Взяв поднос, капитан отведал щей и пшенной каши, съел кусок сухаря и, похвалив щи, передал пробу старшему офицеру. Василий Иванович тоже отведал и, передавая пробу вахтенному офицеру, сказал, что можно раздавать вино и обедать. Возвращая почти пустые чашки боцману, вахтенный приказал свистать к водке.

Два матроса с баталером сзади уже несли ендову с ромом, от которого распространялся на палубе острый, пахучий аромат, щекотавший обоняние. По обыкновению, шествие сопровождалось веселыми замечаниями и остротами. На шканцах шествие остановилось, и ендову бережно опустили на подостланный брезент. После этого два боцмана и все восемь унтер-офицеров стали на шканцах в кружок, приставив дудки к губам, и, по знаку старшего боцмана Щукина, вдруг раздался долгий и пронзительный свист десяти дудок.

— Ишь, соловьи заливаются! — весело замечают матросы, окрестившие этот долгий веселый свист дудок, призывающий к водке, «пеньем соловьев».

«Соловьи» смолкли. Толпа собралась вокруг ендовы, и начался торжественный акт раздачи водки.

Баталер со списком в руке, отмечая крестиками пьющих и ставя палочки не пьющим, [1] выкрикивал громко фамилии, начиная по старшинству: сперва выкликались боцмана, потом унтер-офицеры, потом матросы первой статьи и т.д. В ответ раздавались на разные голоса короткие, отрывистые «яу!» или «яо!» и, выделившись из толпы, матрос подходил к ендове, принимая вдруг тот сосредоточенно-строгий вид, который бывает у людей, подходящих к причастию. Сняв шапку, а иногда и крестясь, он зачерпал мерной оловянной чаркой, по объему равняющейся порядочному стакану, ароматного «горлодера» и, стараясь не пролить ни одной капли, благоговейно подносил чарку

---

[1] Непьющим, по окончании каждого месяца, выдавались на руки деньги, равные стоимости вина. Обыкновенно приходилось около пяти копеек за чарку. Эти деньги матросы называли «заслугой».

к губам, выпивал, крякнув, передавал чарку следующему и поспешно отходил, закусывая припасенным сухарем. Если неосторожный проливал вино, из толпы раздавались насмешливые замечания:

— Винцо, брат, не пшеничка: прольешь — не подклюнешь!

Водка роздана. На палубе стелются брезенты. Артельщики разносят баки с дымящимися щами и большие куски горячей солонины в сетках. Небольшими артелями, человек по десяти, матросы рассаживаются вокруг бака, поджав под себя ноги. Перед тем как садиться, каждый крестится. Артельщик, выбранный каждою артелью, начинает резать солонину на мелкие куски, и все дожидаются, не дотрагиваясь до щей. Затем крошево валится в бак, в щи подливается уксус, и матросы принимаются за ложки.

У одного из баков, вблизи грот-мачты, между другими, сидели Федосеич, Аксенов и Леонтьев. Старый матрос хлебал щи в молчании, с той серьезностью, с какой обыкновенно едят простолюдины.

Он ел истово, аккуратно, не спеша, заедая щи размоченным в воде ржаным сухарем, и бережно сбирал падавшие сухарные крошки. Аксенов весь отдался еде. Глаза его плотоядно блестели, и румяное здоровое лицо покрывалось крупными каплями пота. Он уписывал жирные щи за обе щеки, издавая по временам одобрительные восклицания. После скудного берегового пайка, он вволю отъедался на обильном морском довольствии и находил, что «при таком харче умирать не надо».

Леонтьев снисходительно подсмеивался над восторгами «деревни». Щеголяя своим «хорошим тоном», перенятым у кронштадтских писарей, он старался «кушать по-господски»: с некоторой небрежностью и будто нехотя, словно желая подчеркнуть, что он привык не к такой пище и восторгаться какими-нибудь щами считает неприличным. Во время еды он болтал, видимо, раздражая своей болтовней старого матроса. Федосеич, недолюбливавший хлыщеватого Леонтьева, хмурился, бросая по временам на него сердитые взгляды, и, когда тот завел было скоромную речь насчет китаянок, Федосеич не выдержал.

— Нашел время язык чесать! — строго заметил он.

— За обедом завсегда можно разговаривать. Это даже вполне благородно...

— За хлебом, за солью пустяков не ври!.. Или вас, кантонищину, этому не учили?..

— Ишь, строгий какой! — тихо огрызнулся Леонтьев и, несколько сконфуженный, замолчал.

Примолкли и остальные. Несколько минут только слышно было дружное сюсюканье людей, хлебавших щи.

— Нести, что ли, еще, ребята? — спросил артельщик, когда бак был выпростан и на дне осталась одна солонина.

Никто больше не хотел. Даже Аксенов не выразил желания. Тогда стали есть крошево, стараясь не обгонять друг друга, чтобы всем досталось мяса поровну.

Когда мясо было выпростано, артельщик пошел за кашей и за маслом.

— И скусная же была солонина! — прибавил, облизываясь, Аксенов.

— Эка, нашел скусного!.. Надоела уж эта солонина! — заметил Леонтьев, щуря глаза. — Завтра, по крайности, хоть свежинка будет!

— Разборчивый ты какой господин у нас. Видно, сладко в кантонистах едал? — насмешливо промолвил Федосеич.

— Небось, едал! — хвастливо проговорил Леонтьев.

— Скажи, пожалуйста! — иронически вставил Федосеич.

— Я, может быть, самые отличные кушанья едал.

— В казарме, что ли?

— Зачем в казарме? Мы, слава богу, не в одной казарме свету видели! Была у меня, братцы, в Кронштадте одна знакомая, заместо повара у адмирала Лоботрясова жила... Может, слыхали про адмирала Лоботрясова? Так придешь бывало в воскресенье к кухарчонке — она всего тебе предоставит: и солусу из телячьих мозгов, и жаркова — тетерки с брусникой, и крем-брулея! Очень нежное это кушанье, братцы, крем-брулей! — продолжал Леонтьев, обводя всех торжествующим взором и, видимо, довольный, что слово произвело некоторый эффект.

— Тарелки, значит, вылизывал? — презрительно вставил Федосеич.

Среди матросов раздался смех.

— Это пусть вылизывает, кто настоящего обращения не знает, а мы, братцы, и с тарелок умеем! — задорно возразил Леонтьев.

— Врать-то ты поперек себя толще! — проворчал, отворачиваясь, старый матрос.

— То-то... врать!.. Посмотрел бы, как люди врут, а мне врать нечего!

Принесли кашу, и все занялись едой. Прикончив кашу, поднялись, помолились и стали прибираться. Когда все отобедали и палуба была подметена, раздался свисток и команда: «отдыхать!» По случаю прохладной погоды матросы пошли отдыхать вниз.

Выбрав укромное местечко для себя и для своего любимца, Федосеич принялся доканчивать башмак, а молодой матрос растянулся подле.

— Тоже — «крем-брулей», лодырь этакий! — произнес вдруг сердито Федосеич. — Небось, просил он у тебя денег, Ефимка?

— Просил. Доларь просил.

— А ты не давай. Ему, брехуну, пыли пустить, а тебе деньги нужны. В деревне отец с матерью в нужде живут, им бы прикопил по малости, спасибо скажут... И не вяжись ты лучше с ним, Ефимка! Форцу-то его дурацкого не перенимай! Форцу-то на ём много, а совести нет... Он молоденьких вас облещивает, чтобы деньги выманить. Совсем пустой человек! Слышишь, денег ему не давай! — прибавил внушительно Федосеич.

— Я было обнадежил его, Федосеич!

— Пусть прежде отдаст старых два доляра. А то видит твою простоту и пристает! Так и скажи ему: Федосеич, мол, не велел! — заключил старый матрос и принялся за работу.

Аксенов стал подхрапывать. В это время мимо проходил боцман. Заметив сладко спящего матроса, из-за которого его «срамил» старший офицер, Щукин вскипел гневом и с сердцем пнул ногой молодого матроса.

Аксенов проснулся и ошалелыми глазами смотрел на боцмана.

— Ты што на версту протянул лапы? Убери ноги-то! — грозно крикнул Щукин, прибавляя, по обыкновению, целый букет ругательств.

Матрос покорно подобрал ноги.

Федосеич пристально глядел на боцмана, держа в руке башмак, и, с укором покачивая головой, заметил:

— Нехорошо, Нилыч! За что зря пристаешь к человеку...

— А тебя спрашивали? — окрысился Щукин. — Ты кто такой выискался советчик, а? Молчи лучше, а то как бы и тебе не попало! — проговорил Щукин и пошел далее.

— Гляди, не поперхнись, Нилыч! — кинул ему вслед спокойно Федосеич.

Щукин сделал вид, что не слыхал замечания старого матроса, и, хмурый и недовольный, побрел в свою каютку.

Федосеич поглядел ему вслед и, минуту спустя, прошептал, как бы в раздумье:

— Зазнался человек, что вошь в коросте. Впрямь проучить пора!

— Не проучить его! Напрасно только вчера я не пожалился на него. Вишь, как он пристает! — жалобно произнес Аксенов.

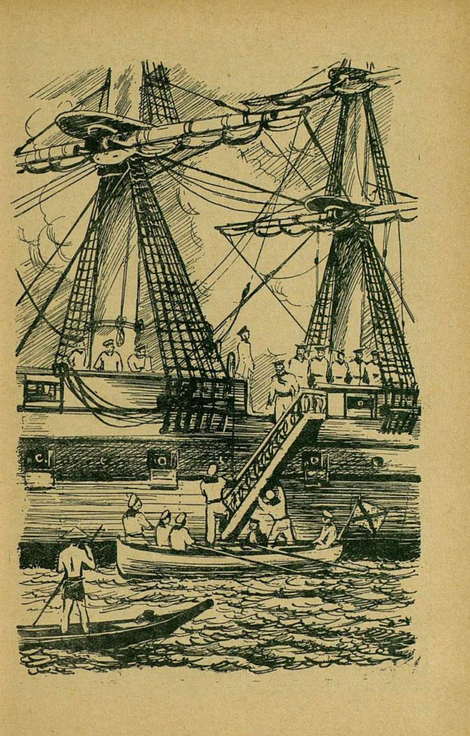
— Глупый! Небось, и не таких учивали! Бог гордых не любит! — успокоительно промолвил Федосеич и, принимаясь снова за башмак, запел свою тихую деревенскую песенку, приятные, твердые звуки которой производили впечатление чего-то необыкновенно хорошего, простого и спокойного.

V

Через три дня первая вахта собиралась на берег.

Матросы выходили на палубу вымытые, подстриженные, подбритые, в чистых рубахах и новых, спущенных на затылки шапках. На многих были собственные рубахи из тонкого полотна, шелковые косынки и лакированные пояса с тонким ремешком, на котором висел матросский нож, спрятанный в карман штанов. Все имели праздничный, оживленный вид.

Леонтьев только что вышел снизу, расфранченный, в щегольской рубахе, в обтянутых штанах, с атласным платком на шее, украшенным бронзовым якорьком. Шапка на нем была как-то особенно загнута набекрень, светло-рыжие волосы густо намаслены, усы подфабрены, и весь он сиял, небрежно щуря глаза и, видимо, щеголяя писарской развязностью своих манер. Он искал глазами Аксенова и, увидев молодого матроса, который в эту минуту, улыбаясь довольной улыбкой, любовался своими новыми, только что надетыми башмаками, подошел к нему и хлопнул его по плечу.



— Так как же, Ефимка? Выходит — обнадежил товарища, а теперь, брат, на попятный, а? — проговорил он, отставляя ногу и покручивая усы, чтобы показать свой перстенек с фальшивым аметистом, купленный за шиллинг в Сингапуре.

Аксенов поднял глаза и оглядывал франта-матроса, несколько подавленный его великолепием.

— Я ведь сказывал тебе: Федосеич не велит! — уклончиво ответил молодой матрос, не без зависти любуясь блестевшим на мизинце у Леонтьева кольцом.

— Не срамись, Ефимка, право, не срамись! Начальник он тебе, что ли, Федосеич? Разве ты малый ребенок, что не смеешь без Федосеича? .. У тебя, кажется, свой рассудок есть . . . Дай, голубчик, ведь ты обещал? — заискивающим тоненьким голоском упрашивал Леонтьев, в то время как плутоватые глаза его бегали по сторонам.

— Федосеич не велит! — с упорством повторил Аксенов.

— Вот зарядил: Федосеич да Федосеич! Ты и не сказывай ему, что дал, ежели уж ты так боишься своего Федосеича . . . Будь приятелем — дай.

— Не проси лучше . . .

— Так ты взаправду не дашь мне доллера, Ефимка? — спросил Леонтьев, неожиданно меняя тон.

— Сказано тебе: Федосеич не велит. У него и деньги.

— Так после этого ты хуже свиньи, Ефимка! Ужо погоди — вспомнишь!

— Ты чего грозишься-то? Ты прежде мои два доларя отдай.

— Два «доларя»? — передразнил Леонтьев. — Ах ты, деревня неотесанная! — продолжал он, презрительно оглядывая молодого матроса. — Подождешь ты свои два «доларя», ежели ты такую подлость сделал с человеком! Где у тебя расписка, а? — с наглой усмешкой прибавил Леонтьев и отошел прочь, окончательно смутивши молодого матроса.

— Первая вахта, становись во фрунт — прокричал вахтенный унтер-офицер.

Матросы пошли строиться. После поверки скомандовали садиться на шлюпки, и через несколько минут баркас и катер, полные людьми, отвалили от борта клипера. По обыкновению разодетый впух и впрах, боцман Щукин сидел на баркасе на почетном месте, весело пуча глаза и деликатно придерживая двумя пальцами клетчатый носо-

вой платок. На баркасе он сбросил свою суровость и не играл в начальника. Обращаясь к сидевшим рядом матросам, он дружелюбным товарищеским тоном рассказывал о достоинствах английского джина и, между прочим, приглашал Федосеича попробовать этого напитка вместе. Однако Федосеич отказался и во всю дорогу сосредоточенно молчал.

VI

К вечеру баркас и катер шли к клиперу, возвращаясь с берега. Приближаясь к судну, шумные разговоры и смех стихли. Шлюпки пристали, и началась высадка. Слегка пошатываясь, выходили подгулявшие матросы на палубу и поскорей пробирались на бак, где шумно делились впечатлениями с оставшимися на клипере. Нескольких пришлось подымать на веревке и в бесчувственном состоянии уносить на палубу и окачивать водой. Наконец поднялся по трапу и Щукин, поддерживаемый сзади двумя более трезвыми ассистентами, и при свете фонарей предстал в самом жалком и истерзанном виде. Лицо старого боцмана было в кровавых подтеках, один глаз вздут, рубаха изорвана, и от шелковой косынки висели одни клочки.

Хотя боцман был очень пьян, однако при входе на шканцы он приложил руку к виску, отдавая честь, и пролепетал: «Честь имею явиться!» Затем его отвели в каюту и уложили.

Гардемарин, ездивший на берег с командой, доложил старшему офицеру, что боцмана, сильно избитого, привели на пристань Федосеев и еще два матроса и объяснили, что нашли его в таком виде, случайно зайдя в кабак. Василий Иваныч попросил доктора осмотреть Щукина. Скоро Карл Карлович вернулся и объяснил, что хотя боцман и «поврежден», но переломов нигде нет и через день-другой он отлежится.

Тогда Василий Иваныч велел позвать Федосеева.

Старый матрос явился в кают-компанию несколько раскрасневшийся от выпитого вина, но держался на ногах твердо. Он подтвердил старшему офицеру то же, что сказал и гардемарину.

— Кто же мог избить боцмана? — спросил Василий Иваныч.

— Должно, боцмана помяли англичане, ваше благородие! — тихим и спокойным голосом ответил Федосеич.

— Какие англичане?

— С купеческих судов англичане, ваше благородие. Их тут есть...

— Почему ты думаешь, что англичане?

— Мы видели, ваше благородие, что Нилыч с ними раньше связался пить шнапсы... Верно, опосле и разодрались...

Василий Иваныч покачал головой и отпустил Федосеича.

На следующее утро Василий Иваныч сам заглянул в каюту боцмана. Щукин лежал пластом. Все лицо его было обложено компрессами.

При виде старшего офицера, старый боцман вскочил.

— Лежи, лежи, Щукин. Где это, братец, тебя так изукрасили?

— Не припомню, ваше благородие! — хмуро ответил боцман.

— Федосеев сказывал, что ты с англичанами дрался?

Боцман на секунду вытаращил удивленно глаза, но вслед за тем с живостью проговорил:

— Дрался, ваше благородие!.. Виноват...

Василий Иваныч сразу догадался, что на англичан взвели напраслину, но дальнейших расспросов не продолжал и ушел, пожелав боцману скорей поправиться и впредь с англичанами не драться.

Щукин отлеживался целый день. Был уже вечер, когда в каюту к нему вдруг шмыгнул Леонтьев.

— Кто здесь?

— Леонтьев, Матвей Нилыч!

— Тебе что? — сердито спросил боцман.

— Я, Матвей Нилыч, пришел доложить вам по секрету, потому как я завсегда уважал вас и, кроме хорошего, ничего от вас не видал... Я знаю, кто это с вами так подло, можно сказать, поступил. Я, если угодно, свидетелем под присягу пойду... Это Федосеев всему зачинщик... Я сам слышал, Матвей Нилыч, как он...

— Подойди-ка сюда поближе! — перебил его Щукин.

И когда матрос приблизился, боцман вдруг поднялся с койки и со всего размаху закатил здоровую затрещину Леонтьеву, никак не ожидавшему такого сюрприза.

— Вот тебе, подлецу, по секрету! Ах ты, мерзавец этакий!.. С чем подъехал!

И грозный боцман, охваченный негодованием, снова поднял свой здоровенный кулак, но Леонтьев благоразумно поспешил исчезнуть.

— Ишь ведь, подлый! — прошептал боцман, опускаясь на койку

После происшествия в Гонгконге, Щукин, по словам матросов, стал гораздо «легче на руку». Он дрался редко, и если дрался, то с «рассудком». Ругался же он попрежнему артистически и нередко восхищал самих обруганных матросов неожиданностью и разнообразием своих импровизаций.

С Федосеичем он был в хороших отношениях, и они нередко вместе пьянствовали потом на берегу. Зато Леонтьеву доставалось-таки от боцмана. Слух о поступке франта-матроса сделался известным, и вся команда относилась к нему недружелюбно.

VII

Несколько лет тому назад я жил летом в Кронштадтской колонии близ Ораниенбаума.

Гуляя как-то вечером, я зашел на Ключинскую пристань полюбоваться недурным видом на море. Там дожидался щегольской катер с военного судна, а на пристани стояла группа матросов в белых рубахах, среди которой выделялась чья-то низенькая коренастая фигура в измызганном, оборванном, куцем пальтишке.

— . . . А ты думал как? . . Меньше как по двести линьков у него, братец ты мой, не полагалось порции. . . В иной день бывало половину команды отполирует. . . Одно слово — орел! . .

Этот сиплый, надтреснутый, старческий басок показался мне знакомым, сразу напомнив давно прошедшие времена. Я подошел поближе, и в оборванном старике узнал бывшего нашего лихого боцмана Щукина. Он сильно постарел. Испитое, бурое его лицо было изрезано морщинами и заросло седой колючей бородой. Потускневшие глаза еще более выкатились. Платье на нем было самое жалкое, сапоги дырявые, и старая матросская шапка, надетая по старой привычке на затылок, была какого-то вылинявшего цвета.

— Или взять теперь боцманов... Разве теперь боцмана!? Шушера какая-то, а не боцмана! — продолжал, оживляясь, Щукин. — Один срам... Чуть что — сейчас фискалить на матроса, если матрос не даст ему руп-целковый... Тьфу! Или теперь матрос... Какой он матрос?.. Ему только и мысли, как бы под суд не попасть... Напился — под суд! Портянки паршивые пропил — под суд! Сгрубил ежели — под суд! Это, небойсь, порядки?..

Щеголеватый молодой унтер-офицер, слушавший ламентации Щукина с снисходительной улыбкой, с важностью заметил:

— Нонче другие права... При вас закону не было, а теперь на все закон...

— Закон!? — презрительно выпячивая губу, повторил Щукин. — А что фитьфебеля у вас нонче с матросов деньги берут да при часах ходят — это закон!?.. Выйдет это он — фу ты на! Павлин да и только... «Вы» да «вы», а от матроса рыло воротит — в господа лезет... Форцу-то много, а если прямо сказать, так одно слово: шильники!.. Нет, братец ты мой, ежели ты боцман, ты учи матроса, бей его с рассудком, но только и совесть знай... А то из-за портянок ежели человека несчастным сделать — это закон!?.. Или ежели за всякую малость на матроса жаловаться, — это, по-твоему, закон?!.. Нет, брат, это не закон... Это — тьфу!.. — энергично окончил старик, сплюнув и выходя из кружка.

— Здравствуйте, Щукин! — проговорил я, подойдя к старику.

Щукин оглядывал меня, видимо, не узнавая. Я назвал себя.

— Вот где довелось встретиться, ваше благородие! — радостно приветствовал меня Щукин. — Вы, значит, вышли из флота?

— Вышел.

— Да и какой теперь флот, ваше благородие! Вы вот спросите: умеет ли он брамсель крепить... так он и брамселя-то не видал, а тоже матросом называется... Ишь ведь, трезвые они нонче какие! — насмешливо прибавил старик, кивая на матросов. — А унтер-то у них?.. При цепочке... деликатного обращения... все больше чай с алимоном... Другой народ пошел, ваше благородие!..

— А вы чем занимаетесь?

— А сторожем здесь при кладбище, — да вот пристань

караулю, чтоб не сбежала... Спасибо, исхлопотал это мне Василий Иванович... Он не забывает старого боцмана... заместо отца родного... Вот вышел окуньков половить... С десяток уж наловил, ваше благородие...

— Выпить-то ему не на что, вот он и ловит окуней на сорокоушку! — насмешливо проговорил унтер-офицер, приблизившись к нам.

— Небойсь, у тебя не прошу, у сволочи! — сердито отвечал Щукин и пошел к своей удочке.

Я купил у Щукина окуньков, и он мгновенно удалился. Через четверть часа он снова явился на пристань совсем охмелевший, и скоро в вечерней темноте снова раздавался его пьяный, осипший голос:

— Одно слово — лев был... Рука — во!.. У нас на «Фершанте» в три минуты марселя меняли... А ты?.. Какой ты унтерцер? Тебе бы только компот в штанах варить, а не то что как прежде бывало... Или когда мы на клипере взаграницу ходили... Небойсь, служба была... Василий Иваныч понимал, какой я был боцман... У меня — шалишь, брат...



СЛОВАРЬ

морских терминов, встречающихся в рассказах [1]

Аврал — работа на корабле, в которой принимает участие вся команда.

Бак — передняя часть судна до фок-мачты.

Бак — посуда, большая миска, употребляемая для пищи.

Баркас — самое большое гребное судно на корабле.

Баталер — унтер-офицер на судне, заведующий денежным, пищевым и вещевым довольствием.

Бейдевинд — курс, самый близкий к линии ветра.

Бизань — парус на задней бизань-мачте.

Боканцы — деревянные или железные брусья по бокам судна, на которых висят шлюпки.

Брамсель — парус, поднимаемый над марселем. Смотря по тому, какой мачте принадлежит, называется: грот-брамсель, фор-брамсель и крюйс-брамсель. Парус, поднимаемый над брамселем, называется бом-брамселем.

Брас — снасть бегучего такелажа (см. это слово), посредством которой ворочают реи. Брасы принимают названия тех реев, к которым они прикреплены (грота-брасы, фока-брасы, грот-марса-брасы, фор-марса-брасы и т. д.).

Бугшприт — горизонтальное или наклонное дерево, выдающееся с носа судна.

Ванты — пеньковая или проволочная снасти стоячего такелажа, которыми укрепляются с боков и сзади мачты стеньги и брам-стеньги.

Вахта — дежурство. Сменившиеся с вахты называются подвахтенными.

Вельбот — шлюпка, имеющая нос и корму острые; она имеет пять-шесть распашных весел. Смотря по тому, для кого служила, получала название адмиральского, капитанского или офицерского вельбота.

Гардемарин — с 1860 по 1882 года это было офицерское звание, которое давалось по окончании курса в морском корпусе на 2 года, до производства в мичмана.

Гитовы — снасти, которыми убираются паруса. Взять на гитовы — подобрать парус гитовыми.

---

[1] Заимствовано из объяснительного морского словаря В. В. Вахтина.

Гордень у паруса — снасть, которою парус подтягивается к рею.
Грот — нижний парус грот-мачты (средней или второй от носа).
Дрейф — отклонение от пути. Всякое судно, идя бейдевинд, кроме поступательного движения, имеет боковое, по направлению ветра; это последнее называется дрейфом.
Камбуз — судовая кухня.
Катер — шлюпка с более острыми обводами и вообще более легкой постройки, чем баркас.
Кают-компания — каюта для общего пользования командного состава.
Кливер — косой треугольный парус, ставящийся впереди фок-мачты (передней мачты).
Клипер — судно, отличающееся от других типов быстротой хода и остротой своих обводов. Вооружено тремя мачтами; задняя сухая, т. е. без прямых парусов.
Кок — повар, который готовит на судах пищу для матросов.
Корвет — так называлось трехмачтовое военное судно с открытою батареею.
Леер — туго вытянутая веревка, у которой оба конца закреплены. Употребление лееров весьма разнообразно: они служат для постановки косых парусов, как то: кливеров и стакселей, и, смотря по тому, какой из парусов по ним ходит, называются кливер-леером, стаксель-леером. Леера прибиваются к реям (эти бывают и из прутового железа), и за них привязываются прямые паруса; белье и койки поднимают для просушки на бельевых и коечных леерах, и, наконец, леера протягивают вдоль палубы во время качки, чтобы люди могли держаться.
Линь — тонкая веревка, трехпрядная, тоньше одного дюйма.
Лот-линь—линь, привязываемый к лоту (свинцовой гире конической формы). Этим линем измеряется глубина моря.
Люк — так называется отверстие в палубе, служащее для схода вниз.
Марс — площадка на мачте. Смотря по тому, какой мачте принадлежит, называется грот-марсом, крюйс-марсом или фор-марсом.
Марса-фал — снасть, которою поднимается марсель.
Марсель — парус, который ставится между марса-реем и нижним реем.
Марсовой — работающий по расписанию на марсе. Старший из матросов марсовых или унтер-офицер назывался марсовым старшиной.
Найтовить — связывать веревкой, делать найтов.
Нок — так называется оконечность всякого горизонтального или почти горизонтального рангоутного дерева, например: рея, бугшприта и проч.
Перты — род шпрюйтов (снасть, оба конца которой втеснены в парус, чтобы разложить натяжения на две точки) под реями, на которых стоят люди при креплении парусов.
Рангоут — мачты, снасти, реи, бугшприт и прочие деревья, на которых ставятся паруса.
Риф — леер у паруса или ряд сезней (веревки для прихвата снастей), посредством которых площадь паруса уменьшается.
Рей (рея) — рангоутное дерево, подвешенное за середину и служащее для привязывания паруса.

Румб — румбом называется всякое направление от центра видимого горизонта к точкам его окружности. Из множества румбов 32 носят особые названия, и в числе их 2, именно O, W, называются главными. Под словом румб подразумевают весьма часто величину угла между двумя румбами; в этом смысле говорят: один румб равен 11°15′; два румба—22°30′ и т. д.

Салинг — рама, состоящая из продольных брусков, называемых лонга-салингами, и из поперечных, называемых краницами. Служит для отвода брам и бом-брам-бакштагов (снастей, служащих для крепления с боков рангоутных деревьев).

Склянка — выражение, которое употребляется на судах и означает получасовой промежуток времени.

Стеньга — дерево, служащее продолжением мачты. Брам-стеньга — дерево, служащее продолжением стеньги.

Такелаж — общее наименование всех снастей. Такелаж, служащий для удержания рангоута (мачт, реев и т. п.) в надлежащем положении, называется стоячим, весь же остальной — бегучим.

Трос — общее наименование веревок.

Фок — самый нижний парус на передней мачте.

Фок-мачта — передняя мачта.

Шканцы — часть верхней палубы от грот-мачты до бизань-мачты.

Штурвал — механическое приспособление, с помощью которого перекладывают руль.

Ют — кормовая часть верхней палубы, сзади бизань-мачты.

СОДЕРЖАНИЕ

Максимка 3
Нянька 34
Куцый 95
В шторм 117
„Человек за бортом" 133
Между своими 154
Матросский линч 168
Словарь морских терминов 196

С—76

Переплет Э. Будогосного

Для среднего и старшего возраста

Ответ. редактор С. Фридман. Редактор-художник И. Каплан. Технический редактор Н. Родченко. Корректор Н. Томин. Сдано в набор 27/V 1940 г. Подписано к печати 24/X 1940 г. М 20840 Д-7. Лендетиздат № 355. Тир. 25000 экз. Заказ № 1502. Ст. форм. 84×108 1/32. Уч.-а. л. 10,96. Печ. л. 12 5/8 (12 1/2 печ. л. + 1 вклейка). Авт. л. 10,14 (140352 тип. зн. в 1 бум л). Бум. лист. 3 5/32. 2-я фабрика детской книги Детиздата ЦК ВЛКСМ. Ленинград, 2-я Советская, 7.





5 р. 50 к.